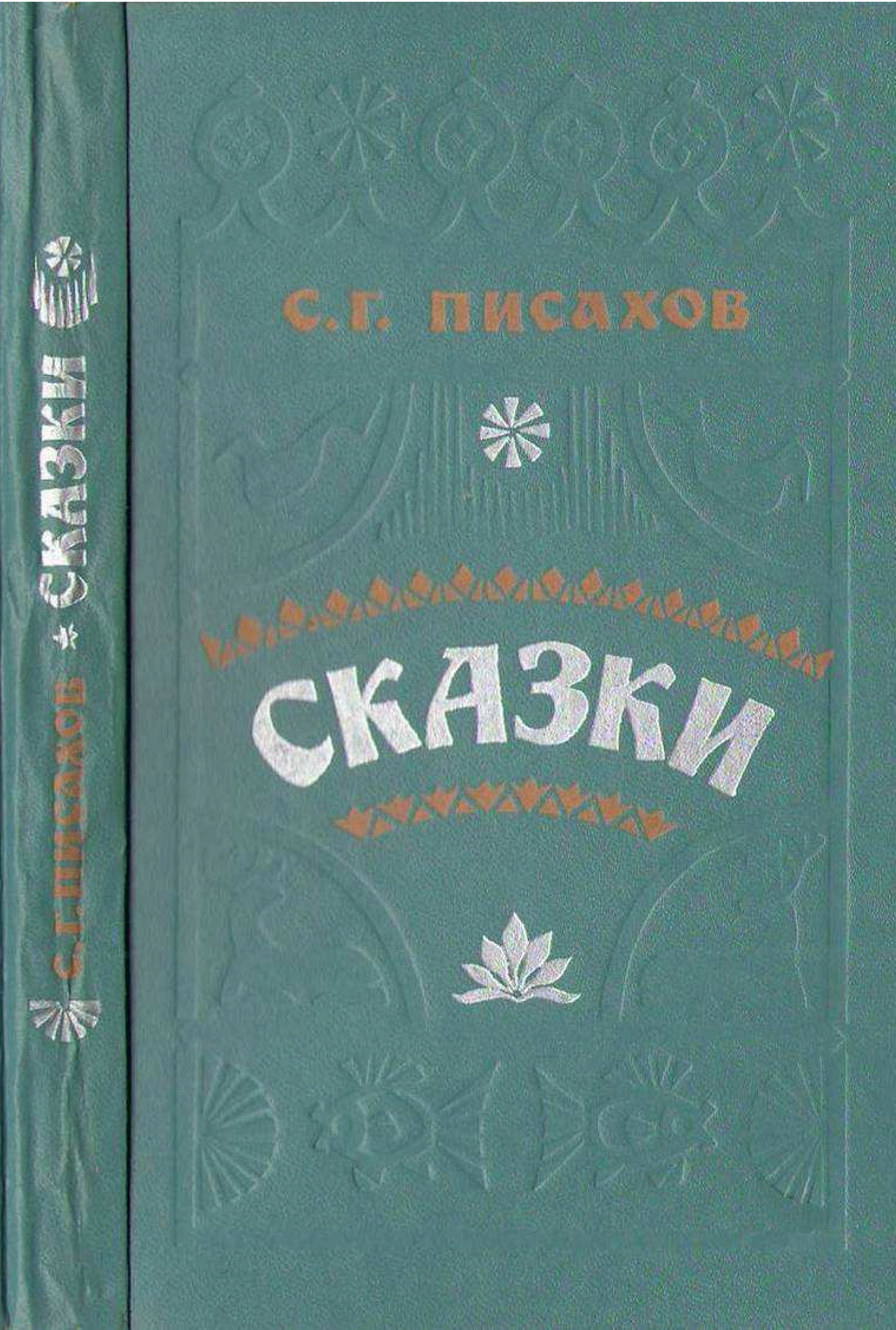
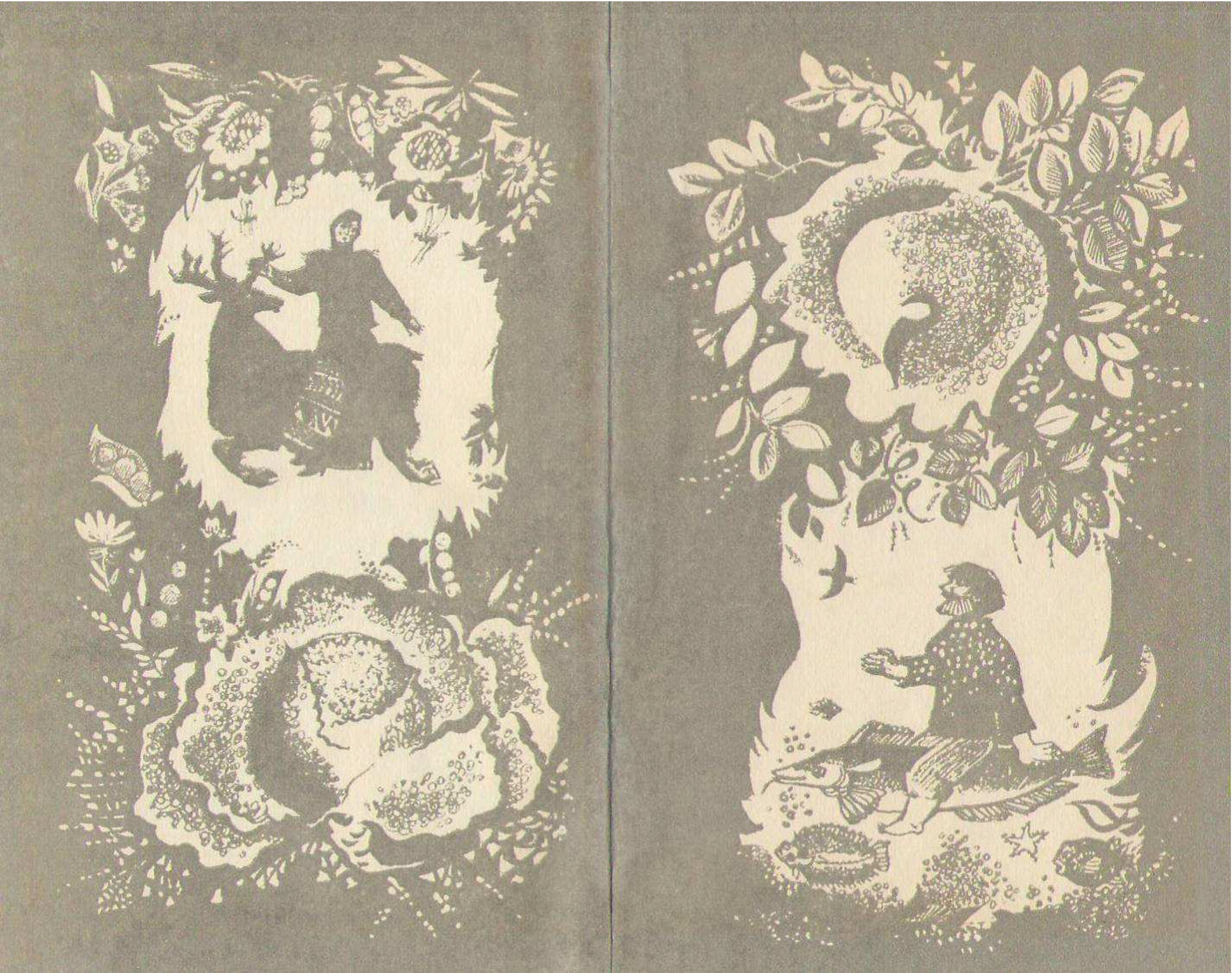
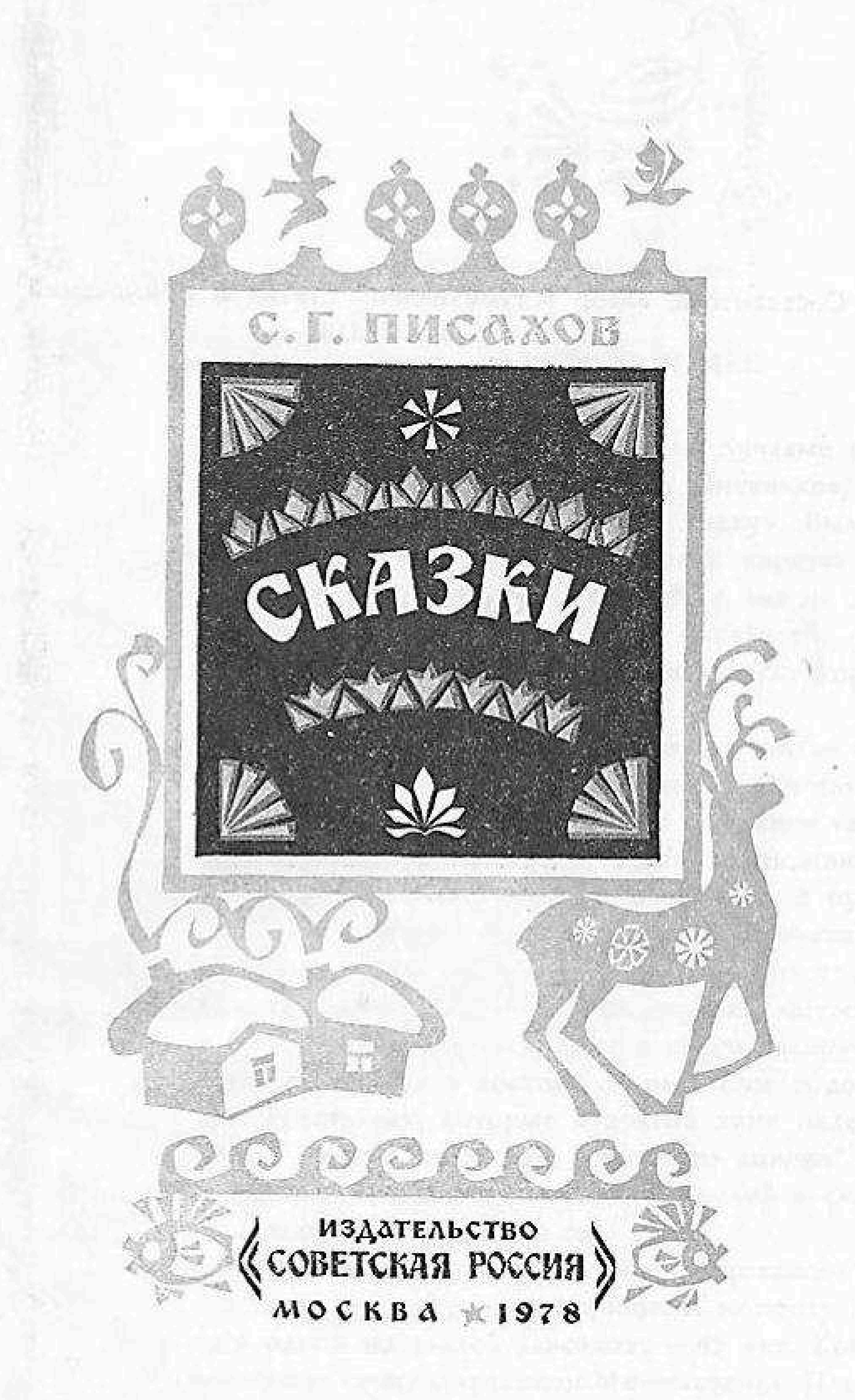
95 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

С. Г. ПИСАХОВ * СКАЗКИ






С. Г. ПИСАХОВ
СКАЗКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА 1978

Р2
П 34

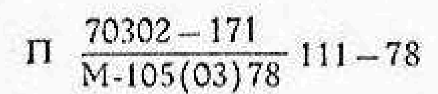
Составитель, автор вступительной статьи и примечаний
А. А. ГОРЕЛОВ

❊

Рисунки и форзац
Г. БУРМАГИНОЙ

❊

Оформление
А. ДЕНИСОВА



П $\frac{70302-171}{М\text{-}105(03)78}$ 111–78



ЧЕРЕДА ЧУДЕС

Когда в типографии набирали лукавые рассказы Рудого Панька «Вечера на хуторе близ Диканьки», наборщики, по словам Пушкина, «помирали со смеху». Было ли так в Архангельске, когда земляки печатали первую сказку Степана Писахова «Не любо — не слушай...», мы не знаем. Но когда сказочника принимали в Союз писателей, по комнате, где Александр Фадеев читал вслух писаховские произведения, перекатывался хохот.

Да и можно ли было не смеяться, читая «правдивое» повествование о том, как находчивые архангельцы продают летом любителям речных прогулок по Двине «вечные льдины»? Как подсовывают при этом льдины «чуть живые», а потом таранят их крепкими глыбами и взимают с простаков за спасение соответственную мзду, грозясь напустить белых медведей или моржей? Можно ли было сдержать улыбку, слыша, что прыткая семга-северянка сама ловится, потрошится, солится, в бочки укладывается и даже в пирог заворачивается? И как было не прийти в восторг от рассказов о домовито-запасливых крестьянах, которые к долгой зиме надергивают с неба целые охапки душистого северного сияния?.. Своей «сущей правдой» Писахов приглашал читателей к сказочной игре, и они радостно принимали ее.

Едва ли есть у нас другой пример такого позднего вступления на литературное поприще. К моменту первой публикации одной из сказок Писахову — 45 лет. Когда выходит его сказочная серия о «русском Мюнхаузене», Писахову — 55 лет. Членский билет Союза писателей он получил 60-летним.

Русская литература сразу приобретает прекрасную книгу сказок-небылиц, с неподражаемым юмором рассказанных от имени помора-крестьянина Сени Малины, жителя фантастической деревни Уймы.

С. Г. Писахов в 1949 году так писал о начале своего творчества: «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка «Ночь в библиотеке» была написана, когда мне было 14 лет. Сказку я написал, обработал, как умел, переписал старательно и послал по почте в дом, где собирались большинство «действующих лиц», выведенных в сказке.

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» была напечатана моя сказка «Не любо — не слушай...» («Морожены песни»).

Сказка стала жить и на эстраде и в передаче по радио и стала народной. Не раз рассказчики передавали сказку, как свою».

Не обошел он и народных источников своего искусства: «Выплывают в памяти присказки, поговорки, детские загадки. Как образец пинежских древних загадок, приведу две:

Два-ста — бодаста,
Четыре-ста — топтаста,
Два — ухтыхта,
Один — пухтыхта.

(Разгадка — корова).

Семьсот скачет,
Семьсот пляшет,
Четыре молотят,
Один поворотит.

(Разгадка — лошадь).

Меня спрашивают: откуда беру сказки, откуда беру темы? Ответ прост:

Ведь рифмы запросто
со мной живут,
Две придут сами,
третью приведут».

Атмосфера рассказывания сказок Писаховым воскрешена им и в письме от 6 сентября 1959 года: «Раз в саду обступили ребята, сели рядом, сели перед скамейкой, стали сзади. Я рассказал, как поднял маленькую речонку, проветрил, а всей деревней Уймой Двину поднял. На хохот прибежали еще ребята, просят повторить. Один из слышавших стал рассказывать. Ребята поправляли:

— Говори, как б ы л о!»

Завершал писатель этот эпизод архангельской пословицей: «У нас говорят: говоримое в слове живет».

Переливчатое слово, озорная выдумка, жизнерадостность, присущие народу и сыну его Степану Писахову, были известны архангельцам издавна. Однако мастер сказочных импровизаций, достойный соперник знаменитого Бориса Шергина, Писахов выступил в печати лишь тогда, когда его собственный сказочный стиль был отчеканен многолетними устными выступлениями. Он продолжил традицию красноречивых северных посказателей, сплетавших из житейской обыденности и заурядности затейливое кружево скоморошьих сказок.

Павел Бажов увидел в них «тончайшую работу», «изумительную полноту звучания подлинно народной жизни и речи». Демьян Бедный назвал Писахова «волшебным сказочником, словесным колдуном».

Диковинная страна его книг — частица мира воистину необыкновенного: такой представлялась Писахову вся Земля, такой казалась вся жизнь человеческая. И шел он по миру, как по стране чудес.

*

— Каким он был, Писахов?

— Грива седая. Усы белые. Глаза в бровях утонули. Ростом... «Я,— говорил,— великан. Рост одинаковый с Наполеоном...» Чудак!..

«Чудак» и «чудо» — слова одного корня. Чудак, видимо, и есть тот, кто верит в чудо. Мысль эта непременно промелькнет в разговоре, идущем на Поморской улице Архангельска, возле двухэтажного деревянного дома № 27, в котором родился и прожил восемь десятков лет сказочник и художник Степан Григорьевич Писахов (1879—1960).

Есть люди, помнящие его именно таким — седеньким, с моржовыми усами — на закате дней его. Есть его бывшие ученики 3-й Архангельской школы, которые вспоминают охваченного постоянной жаждой деятельности, неутомимого рыжеволосого учителя рисования Писахова. Это он в начале 30-х годов каждый месяц устраивал им пир, и они, не избалованные по тому времени сытостью, на всю жизнь запомнили даже запах, обнимавший их за высокой стеклянной дверью крендельной. Не забыта, конечно, и мастерская учителя с арктическими и лесными пейзажами хозяина на стенах, с бе-

рестяными туесками и пряничными досками северной работы, с копией гудоновского бюста: Вольтер в платочке. На полках стояли ровным строем книги (иные толстенные — с цветными рукописными заставками, с застежками), а низкие шкафы у стен были полным-полны бумаг, вырезок о Севере и искусстве.

У себя дома он ставил ученикам гипсы, а пока они рисовали, пересказывал гомеровский эпос, эпизоды «Дон Кихота», неподражаемо рассказывал пинежским говорком народные и свои собственные сказки, говорил о любимых, но совсем непохожих на него художниках — Брюллове, Ван-Дейке, исполинах Возрождения. К нему приезжали погостить полярники, писатели, заходили рабочие дока, краеведы. Он учил высоко мыслить, мечтать, идти к осуществлению своей мечты.

«Он жил непосредственной жизнью, какой должен жить человек. У него огромная культура сочетается с непосредственностью младенца»,— сказала о нем Анна Константиновна Покровская, видный советский педагог, знаток русской северной культуры, встречавшая Писахова еще в 1907 году по пути на Новую Землю.

В этих словах — разгадка его характера, его творчества.

*

Степан Григорьевич Писахов родился в той деятельной, предприимчивой и вместе исстари заповедной России, где знали цену искусству — корабельному, плотницкому и домашнему столярному, кузнечным поковкам и узорочной черни, жемчужному шитью, иконной, фресковой и бытовой цветописи, берестяной резьбе, книжному списанью, песенному мастерству и складно-баской обиходной речи. Всему тут были свои ревнители, знатоки, умельцы.

Отец мальчика принадлежал к цеху серебряников-ювелиров. Родня по материнской линии — поморы с Пинеги. Двоюродный дед Леонтий славился как сказочник (получал за то на промыслах лишний пай).

Две страсти — живопись и слово — сызмала завладели душой Степана Писахова.

Праздники зари, отраженной морем, торжественное горение северного неба, молчание вод, птичьи клики в тумане, появление на горизонте долгожданных карбасов были нескончаемой чередой чудес. Хотелось удержать их не только в памяти — в образе.

Оттого за старшим братом, художником-самоучкой, потянулся к кисти. В радостной тревоге, веря и не веря, спрашивал себя: «Не это ли призвание?..» Но слышал вдруг говорок непрошеной гостьи-родственницы: «Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!» — и рука медлила, и все существо с ликованием внимало этим подмигивающим словам, этим коленцам напевной северной речи. И рядом с начальными попытками в художестве идут попытки сочинения сказок. Самой ранней он считал недошедшую до нас, уже упоминавшуюся «Ночь в библиотеке» (1893).

Живописи и литературе предстояло раскрыть разные грани личности Писахова: самоуглубленный, самосозерцающий лиризм, настроенный по камертону величавой северной природы, и радость активной, по-северному энергичной натуры.

Впрочем, это разъяснилось очень не скоро. Двадцатилетний Писахов, окончив городское училище, пытается поступить в художественную школу в Казани. Надежда рушится: общительный юноша арестован вместе с казанскими студентами по подозрению в революционной деятельности.

Несколько лет проходит в упорных самостоятельных занятиях, и вот наконец он — вольнослушатель достаточно известного столичного заведения — Санкт-Петербургского центрального училища технического рисования барона Штиглица. Живет он на Литейном проспекте. До училища — рукой подать. Писахов успешно пишет, рисует по обязательной программе, хорошо сдает экзамены за орнаментальный класс.

Однако система обучения поражает его иссушающим формализмом и вызывает протест. Студенты училища критикуют учебные порядки, видя в них зеркало порядков общероссийских. Во время революции 1905 года на бурной сходке учащиеся выдвигают перед начальством ультимативные требования: привести учебу в соответствие с «действительной жизнью», открыть профессиональный доступ «в мастерские, на фабрики, заводы», отменить плату за обучение, предоставить помещения для внеклассных собраний и выставок, на лекциях уделить подобающее внимание русскому искусству.

Писахов не считал себя революционером, но в 1905 году, по его признанию, он «так кипел!». Он произнес горячую речь, текст которой мы не знаем, но известно, что речь эта была встречена исступленной овацией. Можно предполагать, что Писахов выступил, в частности, с защитой отечественного

искусства. В петиции, поданной на имя «товарища министра финансов», взволнованно прозвучало патриотическое негодование студентов: «Что это за музей прикладных искусств в столице всея Руси, в котором для русского искусства и русских сокровищ отведен самый убогий и темный уголок!»

Петицию подписали 147 человек. Из них 45, отказавшись заниматься по рутинной — антидемократической и антипатриотичной — системе, ушли из училища и тем самым автоматически лишились права продолжать художественное образование в России. В числе ушедших был Писахов.

Добродушный архангелец обнаружил до поры сокрытую незаурядную твердость духа. Тот же год положил начало его скитаниям и самоиспытующим пробам, в которых окончательно сформировался и окреп писаховский характер.

Сначала он направился к «легендарному старику» — новгородскому археологу Передольскому, оберегателю древнерусского искусства. Ходил из уст в уста рассказ о том, как Передольский спас каменные надгробья новгородских князей от продажи за границу. Надгробья были найдены при случайных раскопках. Губернатор, ничтоже сумняшеся, сторговал их англичанам. Подводы с проданными памятниками выезжали за городскую околицу, когда их увидел Передольский. Своим зычным голосом он велел возчикам заворачивать к нему во двор и разгружать телеги. Начальник губернии, в ярости прикативший к Передольскому, получил от него пощечину. Посрамленного администратора вынуждены были сместить.

Передольский встретил Писахова по своему обычаю — сурово, но провожал дружески: его гость оказался таким же поборником исконной русской культуры, как и он сам, как Тенишева, Васнецов, Рерих, Грабарь. От встречи с Передольским в жизни будущего сказочника протянется путь к глубинным селениям Печоры, Мезени, Пинеги, Онеги, куда он отправится в поисках сокровищ национальной культуры и где ему удастся осязаемо ощутить XVI, XVII, XVIII века русской истории.

Едва вернувшись в родной дом, художник отъезжает на Студеную Матку — Новую Землю. По-видимому, у него были опасения, что за петербургскую историю в Архангельске его могут подвергнуть полицейскому надзору.

Писахов остановился в ненецком становище Малые Кармакулы.

Над головой — незакатное летнее солнце. Вокруг — океан. Над коричневыми ребристыми скалами осатанело кричали птицы.

Взрослое население уходило на промыслы. В закопченных избах, рваных чумах оставались старики с ребятами. Писахов, волоча огромный этюдник, целые дни лазил по кручам, мазал красками холсты, бумагу, вызывал удивление ненцев непривычной работой: русский будто весь мир хотел сложить в свой ящик. Водки не пил. Табак не курил. Не называл плохое хорошим.

Он был счастлив возле этих искренних людей, возле птичьих гнездовий, где можно было дышать простором океана и испытывать ни с чем не сравнимое состояние единения Человека и Земли. «И услыхал в себе силу со всей дали, со всего простору»,— выразит позже эту радость бытия его герой Сеня Малина («Сплю у моря»).

Однажды в летнюю полночь Писахов увидел поющего на высоком берегу новоземельского парня. Художник не нарушил его одиночества, просто сел поблизости, вслушиваясь в незнакомые слова и напев, которые дополняли «величие тишины». Когда солнце заметно стало подыматься, художник спросил:

— О чем поешь?

Тот ответил:

— Что думаю, о том и пою.

— О чем думаешь?

Парень пересказал песню русскими словами:

Вышел Я ночью на гору,
Смотрю на Солнце,
Смотрю на Море.
Солнце смотрит на Море,
Солнце смотрит на Меня.
Хорошо нам втроем —
Солнцу, Морю и Мне!

Через полвека Писахов добавлял в одном из писем: «Я тихо поднялся. Долго шел молча... бросил этюдник, раскинул руки: казалось, обнимаю весь простор!

— Солнце! Море! и Я!

Где еще мог я так сказать?»

А Север готовил ему еще один сюрприз — знакомство с мужественным, энергичным ненцем, всю жизнь идущим на помощь людям, впоследствии — председателем Новоземельского Совета депутатов трудящихся — Тыко Вылкой.

Вернувшись в Архангельск поздней осенью с новоземельскими холстами и акварелями, переполненный северными впечатлениями, он вновь собирается в дорогу. На этот раз путь его лежит на юг.

Но где взять деньги? И Писахов берется за переписку монастырских книг. Через полтора месяца он способен заплатить 25 рублей за проезд от Одессы до Яффы.

И тут начинается восточная одиссея Степана Писахова, где каждый его шаг – протест против бесчисленных предрассудков, оскорбительно-нелепых традиций, сковывающих естественные стремления человека. Натура Писахова не могла с этим ужиться. Русский художник нарочито-наивно идет навстречу опасности, протестует.

— Писать султанский дворец нельзя! — предупреждают его в Константинополе.

— Что за глупость! — отвечает он и, открыв этюдник, усаживается перед дворцом.

Его арестовывают.

Султанское «ирадэ» (разрешение), полученное затем в Иерусалиме, позволяло художнику писать с натуры по всей Турции, за исключением Хеврона. Об этом местечке существовало поверье: «Если гяур дойдет до могилы Авраама...— конец турецкому владычеству». Писахов отправляется именно в Хеврон. Каймакам (наместник) болен, не принимает. Тогда Писахов на свой страх и риск идет туда, где в пришельцев летят каменья, и без дозволения наместника делает этюды библейских памятников, которыми скоро поразит художников Петербурга.

Совершив с караваном паломников пеший переход в Иерихон, Писахов, несмотря на предупреждение о грабителях, в одиночку устремляется к Мертвому морю.

«Возьмите пистолет!» — советуют ему.

Он возражает: «Без оружия я смогу себя защитить, а вот с оружием — едва ли!»

Именно здесь Писахов подружится с арабом Али Ахметом, который будет оберегать его от превратностей дальнейшего путешествия.

На Востоке писатель вновь, и теперь уже на всю жизнь, усвоил, сколько братского тепла живет в сердцах простых людей разных наций. В 1917 году, находясь в Кронштадте, матрос Писахов будет провозглашать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И революционный лозунг даст исход давней внутренней его убежденности в том, что солидарные действия и дружеское общение людей Земли необходимы.

Проездив зиму по Средиземноморью, Писахов вернулся в Одессу, когда на юге России уже сошли снега. В весеннем Петербурге тоже не было снега. Не было и в Архангельске. А он так стосковался по русской зиме! Услышав, что на Мурман уходит торговый пароход, паломник, не раздумывая, поехал дальше. Белые сугробы он увидел в мурманском становище. Бросился, распластался по снегу, окунул лицо в ледяную, студено обжигающую, подтаявшую зернь, жадно насыщаясь дыханием зимы.

Нет, без Севера он не мог.

Незадолго перед первой империалистической войной в Риме с успехом экспонировалось поэтичное писаховское полотно — сияющий инеем «Серебристый день». Леонид Леонов, который в начале 1918 года не раз беседовал об искусстве с «живым, ярким» Писаховым, слышал, в числе прочих рассказов художника, и его воспоминания о заграничных скитаниях. Однако, оглядывая маленькую комнатку, сплошь увешанную северными пейзажами, Леонов делал неколебимый вывод: «А мне упорно и уверенно казалось, что даже оттуда, с минаретов Босфора... и с выметенных горячим ветром Сахары пирамид он глядел на Север, где... голубые незабудки тянутся к незаходящему солнцу».

С 1906 года Писахов почти ежесезонно — в составе научно-промысловых полярных экспедиций в Карском и Баренцевом морях. Его фотографируют купающимся во льдах. Он со смехом объясняет:

— Северная вода прозрачная – хрусталь! Как удержать желание окунуться, побыть под одной крышей с хорошим народом — моржами, тюленями!

В 1907 году приехал в Архангельск друг Писахова полярник Д. Д. Руднев, заглянул на Поморскую. Вышла навстречу мать художника. Руднев спросил:

— Дома Степан?

— Дома.

— Зовите!

— Он на Новой Земле!

Север дарил Писахова мудрым пониманием простого и главного в человеческой жизни. Укрепляемый верой в людей, он не покладая рук работал, и на его полотнах появлялись ледяные купола Земли Франца-Иосифа, мрачные фиорды новоземельского пролива Маточкин Шар. Спутник полярников на розысках трагически исчезнувших экспедиций Русанова и Седова, Писахов создает первую в русской живописи картину, запечатлевшую с натуры аэроплан в Арктике,— «Самолет Нагурского на Новой Земле» (1914). А еще в течение пяти лет по нескольку месяцев он писал пейзажи Кийострова, что на Белом море.

Оценив достоинство полотна художника «Сосна, пере-

жившая бури», Репин приглашал Писахова работать в своей мастерской (1908). На первой архангельской выставке «Русский Север» (1910) Писахов показал более двухсот произведений. На петербургской выставке «Север в картинах» он удостоен серебряной медали (1912). О Писахове заговорили как о мастере, синтезировавшем искания Левитана и Александра Борисова, создателя русского живописного пейзажа Крайнего Севера.

Гораздо позже Писахов так выразил свое кредо: «Я реалист. В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю! В живописи я обязан быть правдивым. Поссориться с Природой ради выкрутаса — Природа замкнется».

Дальнейшее утверждение реалистических взглядов Писахова на искусство приходится на советский период его работы. В год Октября матрос Писахов оформляет демонстрации и уличное убранство революционного Кронштадта. После окончания гражданской войны на Севере он рисует портреты партизан, боровшихся за Советскую власть в условиях иностранной интервенции. По-прежнему, не изменяя призванию пейзажиста, Писахов подчеркивает в картинах социальное обновление родины («Памятник жертвам интервенции на Иоканьге», «Памятник Ленину на мысе Желания»). И с еще большей мощью звучит в его живописи тема величия Севера.

Несколько лет спустя на страницах «Известий» Леонов, Шергин, Новиков-Прибой, Зуев, Лидин, Эренбург, Яковлев отметят, что «большое собрание» картин Писахова для знакомства с Севером представляет материал «ценнейший и незаменимый». Шестидесятилетие Писахова будет отмечено новой персональной выставкой в Архангельске.

Сегодняшняя оценка Писахова-живописца удачно выражена в словах Юрия Казакова: «Полотна его по своей тончайшей прелести, по настроению, по выражению национальному стоят, на мой взгляд, в одном ряду с полотнами Поленова, Нестерова, Левитана».

*

Писахову-живописцу и Писахову-сказочнику присущи единые жизненно творческие принципы, которые пронизывают деятельность этого оригинального художника. Это прежде всего — верность натуре в изображении жизни народа, стремление к правде и красоте, социальная зоркость и высокая гражданственность.

Как русское литературное явление, Писахов уникален. Основа его художественного метода — игровая выдумка, которой писатель наделен избыточно. Говоря о нем, вспоминаешь слова Бунина: «...ведь выдумать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум по всем жилушкам переливается».

Встретив однажды в 1928 году в пригородной архангельской деревне Уйме даровитого рассказчика небылиц старика Семена Кривоногова, по прозванью Малина, писатель от него услышал, как тот «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Очарованный искусством, так импонировавшим его собственным творческим устремлениям, Писахов решил вести все свои дальнейшие повествования от имени Сени Малины: он чтил «память безвестных северных сказителей», своих «сородичей и земляков».

Большое в искусстве не может возникнуть из примитива, из скудного морального и эстетического пожитка. Сказки Писахова — отражение человеческой души, которая творила в соприкосновении с великим: «В Москве,— обронил он в одном из писем,— мне надо каждый день видеть кремлевские звезды... В Архангельске мне надо видеть Двину».

В сказках Писахова всюду веселость и упоение бытием как самой удивительной сказкой мира. Он смеется, шутит, острит, и озорная радость преображает будни в праздник. Рассказчик и одновременно герой его произведений мужик-помор Сеня Малина (он то крестьянин, то рыбак, то охотник, то матрос, то солдат, то рабочий) — это народ, понимаемый как собирательная социальная сила и как олицетворение всеобщего жизнетворящего начала.

Может ли быть поставлен в тупик невзгодами, препятствиями и трудностями тот, в ком одухотворена сила самой природы? Эта «отприродность», всебытийность героя Писахова — естественный и неиссякаемый источник его творческого оптимизма.

«Выспался я во всю силу. Проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь легкой потяготой. До города вытянулся...». «Я руки раскинул... охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок да за пазуху сунул... Я молодых ветров, игривых да ласковых, много наловил. Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести. Дождик не стал по сторонам разливаться, а весь на меня. Стал я на огороде... да босыми ногами в мягку землю! Чую: в рост пошел! Ноги — корнями, руки — ветвями».

Могущество Малины таково, что он может раскачать море, связать хвостами волков, править косяком рыбы, оседлать тучу, скатываться по радуге в свою избу. Он знает так много, что ему даже известно, о чем утки и рыбы «думают». Он вечен: жил-был и при «Наполеонтии» и при Мамае.

Малина — это воплощение мечты человека о всевластии над природой, которая дарит человека дружбой и согласием и оттого — радуги, дожди, медведи, налимы — все превращается в его волшебных помощников: река рыбу дарит, река бежит-журчит в едином ритме с песней героя, туман «сладостью конфетной рот набивает».

Малина может становиться по хотению своему то великим, то малым, на работу может выходить артельно, разбившись на ватагу двойников. И все, что им задумано, тотчас сделано.

Подобный крестьянскому божеству, герой выполняет желания своих односельчан, заботится, «чтобы хорошим людям... любо было», чтобы «вся деревня», весь работящий народ были сыты, нарядны, веселы. Удивительно ли, что народ сказочной деревни Уймы, способный придвинуть берег к берегу и проветрить реку, умеет в социальной жизни защитить себя от всего сонма нагло «величающихся», пыжащихся «хозяев» старой России — царей, архиереев, полицейских, кабатчиков, купцов, чиновников.

В шутейной сказке — своя стилистика. Посрамить, опозорить, осмеять врага — это и значит совершить классовое возмездие. И так оно и происходит в эпизодах сказочного цикла Писахова, где крестьянской пареной репой-брюквой давится губернатор, где плавает пузырем по озеру оглушенный мужицким ружьем поп Сиволдай, где народ выкатывает из деревни туши объевшихся полицейских, где «инстервентов» лупцует телега и шишками отдаривает господ за обман рабочего человека «мордобитное» письмо: всюду звучит не просто торжествующий, а победительный смех. Смех этот всесилен, как сам Сеня Малина, и «изводятся» в сказках Писахова недруги крестьян — казнит их народная «сила смеховая».

Высоко ценя единство стилистического строя в сказках, не забудем, что здесь органически писаховское, идущее от личности автора — это гуманистическая вера в то, что добро, великодушие, щедрость сильнее зла, ограниченности, мещанства. Народная убежденность в «конечной» победе правды (она всегда устремлена в будущее, равняется на высший этический идеал и превращает надежду в свершившийся факт) и уверенность писателя в нравственной неодолимости добрых начал практически совпадают.

В сказках Писахова поражает взаимообратимость, органическое взаимодействие реального и фантастического. «Расщепившись» сначала на рабочую артель, Сеня Малина идет на крестьянский обед, уже «собравшись» в одного человека. Вытянувшись на 18 километров, чтобы оделить материей целую деревню, он вскоре сидит в доме в своем обличье. Чудо-телега, побившая незваных иноземцев-насильников, стоит под навесом как самая обычная телега.

Насмешливый рисунок сохраняет множество правдоподобных, зорко схваченных черточек жизни. Сказочная Уйма ими как бы «привязана» к земле.

Писаховская фантазия — дар счастливый, достигающий исключительной поэтической силы. Малиновый солнечный свет вмерзает в снежные столбы, и их полыхание всю ночь озаряет деревню, превращая даже старух в маковые цветы. С лимона «обдирают» запах и вагонами отправляют из Архангельска в Москву. Чайки оставляют крыльями в тумане узор, и его перенимают кружевницы. Герой катит домой телеграммой по телеграфной проволоке, подпрыгивая на фарфоровых чашечках. Тепло таскают из печи, словно хлебные ковриги, теплом торгуют с лотка. Крестьянин видит чужие сны. Народ, поддев на вилы тучи, несет их на сухие поля...

Это — пиршество воображения. Поток совершенно оригинальных образов. Трудно найти подобия им в нашей новой литературе. Более отдаленные параллели установить можно: отдельные частности в сказках Писахова созвучны с деталями «Мюнхаузена» Распэ, «Пантагрюэля» Рабле, «Похождениями бравого солдата Швейка» Гашека. Но верно ли вообще искать для прозы Писахова образцы книжные?

Писахов впервые в нашем литературном искусстве концентрирует и утверждает как особую стилистическую манеру то, что находим в народных анекдотических сказках-небылицах, песнях-скоморошинах, да еще разве в некоторых повестях старинного семнадцатого века: речевые метафоры овеществляются, идиомы материализуются, мир полнится парадоксами, небывалостями и непредвиденностями.

Чудеса обитают в сказках Писахова преимущественно на поморском Севере, ими — не в пример иным селам — особенно славна деревня Уйма, с которой «все» мечтают породниться. Милая привязанность к родному краю была живительной для литературного таланта Писахова. «С детства,— говорил он,— я был среди богатого северного словотворчества... Иногда одна фраза даст тему для сказки, например:

— Какой ты горячой, тебя тронуть — руки обожгешь».

И не эта ли любовь к русской народной речи порождала у него в чужих краях невыносимую тоску по Родине?..

Сам родной язык, со всем его богатейшим инструментарием, царит в сказках писателя.

Если о ком-то говорят: «измочален»,— значит, его можно вживе вывесить на плетень, как сохнущую мочалку. Раз есть пословица о крепких словах, которыми подпирают заборы, отчего не подпереть ими заборы сказочные? Отчего при этом не добавить: «на крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят»? Отчего не вспомнить слово доброе, о которое, мол, «старухи да старики опираются»? Прозвище «Перепилиха» столь выразительно, что его обладательнице ничего не остается, как доказать способность перепилить голосом и медведя, и мужика, и всякого, кто подвернется. Если герой «разгорячается», то уж натурально, и в кармане у него даже закипает в бутылке вода... Затертые разговорные метафоры у Писахова расцветают, и вокруг них развертывается прихотливо-узорчатое повествование.

Будто комментарий к заглавному слову, возникает сказка «Инстервенты», с прозрачным, поистине бессмертным народным переосмыслением этого ненавистного иностранного слова. Словесная игра организует сюжет сказки «Царь в поход собрался», где весть о «писаных-печатных» пряниках доходит «до царского двора» и (логика комического заострения образа у Писахова здесь безукоризненна!) «до царской подворотни». «Печатные» пряники вызывают страх недалеких министров и карликового царя перед самочинной народной «печатью», а затем приказ «опечатать» пряники приводит царя и его камарилью к полной конфузии.

Оперируя словом, Писахов,— что весьма редко для прозаика и объясняется устностью, «аудиторностью» рождения многих его текстов,— использует даже чисто фонетические ресурсы слова: у него можно наблюдать подчеркнутое сближение слов-близнецов и слов-перевертышей («в Уйме пряников... уйма», «нажег уже́ — нажгу ужо́», «Налим Малиныч», «из утроб... как в трубы затрубили»). Не прочь он прибегнуть и к раешной ритмизации сказок («У тебя много паров и больше того всяких правов»; «Каждая стопка (меду) тройке воз, если мерить на увоз»; налоги с поморов берутся чиновниками по статьям: «Приходно, проходно, причально, привально, грузово, весово», что, между прочим, указывает на известную связь его творчества и с рифмами народной драмы, некогда столь любимой на русском Севере).

Сказки Писахова зачерпнуты из колодца живой и чистой

северной речи, и этого было бы достаточно, чтобы признать за его книгой неоспоримое литературное значение. Но «почвенные» связи писателя, сам тип его отношения к традициям фольклора имеют смысл гораздо более принципиальный.

Писахов — из той русской литературной плеяды, которая своевременно ощутила, что жизнь народной культуры находится в XX веке на переломе развития, что уже вершится бесповоротная смена исторических форм массового народного творчества и что вместе с урбанизацией эстетических ориентиров, вместе с исчезновением в сельской местности старинной народной обрядности начинает «сбывать» прежде полноводный классический фольклор. И плеяда — Писахов, Шергин, Бажов, Мисюрев и другие родственные им писатели — дала совершенные образцы синтеза профессионального и стихийного словесного искусства. Вклад этих писателей в закрепление и перенесение в литературу сокровищ народного творчества определяется не только яркостью индивидуальности каждого из них, но прямотой связи их с еще активно пульсировавшими родниками-первоисточниками. Нет сомнения, что фигура Писахова еще не однажды привлечет к себе пристальное внимание литературоведов, которые вчитываются в творчество писателей, цементировавших связь между предшествующими и преемствующими формами русской культуры XX столетия. В Степане Писахове их будут всегда привлекать яркость таланта, неутомимая жажда творчества и восхищение достоинствами многообразного русского народного искусства, которому он постоянно находил аналогии в великих историко-художественных ценностях других народов.

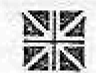
«Жатва», которую пожинал писатель в год «совершеннолетия» (так он называл свое 80-летие), была обильна. Поздравления шли из Новгорода, Арзамаса, Вологды, Ленинграда, Москвы. Ученики-художники, называя дни на Поморской лучшими в их жизни, растрогали до слез: послали самовар и шуточный рисунок — Писахов несет огромную книгу сказок «На самоваре вокруг Луны». В поздравлении Леонида Леонова были слова: «Читал присланную Вами книжку сказок и поражался количеством юмора, оптимизма и вообще хорошего, заразительного для читателей настроения. Как видите, на меня, известного своей мрачной писательской философией, творчество Ваше производит благотворное влияние». И были еще слова: «Без Вас не мыслю Севера».

Писахов, вспоминая письмо Леонова, гордился: «Прошибить Леонида!» Сам же сочинял новую веселую сказку «Как

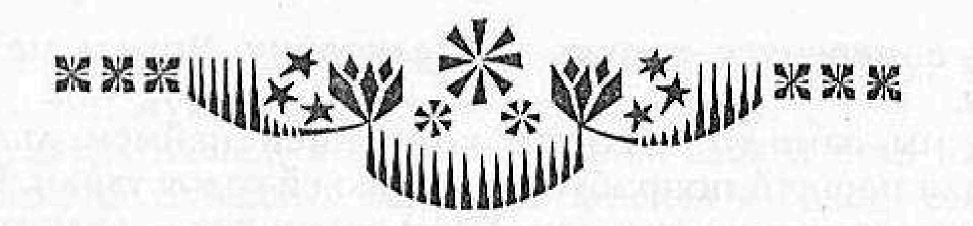
мы встречали 2000-й год», подумывал о третьем сорокалетии жизни и как бы в оправдание себе цитировал слова Гёте: «Неправда, что человек впадает в детство. Старость, приходя, застает детство». И последняя из известных нам его сказок «Корона» была написана за полгода до кончины, вопреки старческим недугам, во всегдашнем жизнерадостном ключе. В нем и вправду жили вечное детство, вечная радость.

Сказки Степана Григорьевича Писахова будто радуга, возникшая из сложной человеческой жизни и перекинувшаяся к людям сверкающим мостом. Она не меркнет.

Ал. Горелов







«НЕ ЛЮБО — НЕ СЛУШАЙ...»

Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.

Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.

Кругом все свои — земляки, соврать не дадут.

К примеру, Двина — в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да дают в прокат, кому желательно.

Запасливы стары старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколь годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили.

В стары годы девкам в придано давали перьвым делом — вечну льдину, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.

Летом к нам много народа приезжат. Вот придут к ледeнику да торговаться учнут, чтобы дал льдину полутче, а взял по три копейки с человека, а трамвай пятнадцать копеек.

Ну, леденик ничего, для виду согласен. Подсунет дохлу льдину — стару, иглисту, чуть живу (льдины хошь и вечны, да и им век приходит).

Ну, приезжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы, песню заведут, а робята уж караулят (на то дельны, не первоучебны). Крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнет. Приезжи завизжат: «Ой, тонем, ой, спасайте!»

Ну, робята сейчас подъедут на крепких льдинах, обступят.

— По целковому с рыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим!

А мишки с моржами, вроде как на жалованье али на поденшшине,— свое дело знают. Уж и плывут. Ну, при-

езжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся.

А мы сами-то хорошей компанией наймем льдину, сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше ста — и не возьмем. Коли сотни нет — значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим да вертим кругом, чтобы не загореть. У нас летом солнце-то не закатывается: ему на одном-то месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки разов пятьдесят обернется, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят. Ну, коли дождь да мокресть, дак отдыхат, стоит.

А на том берегу всяка благодать, всяческо благорастворение! Морошка растет большушшими кустами, крупна, ягоды по фунту и боле, и всяка друга ягода.

Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают да днишша заколачивают. А котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется. Семга да палтусина ловчей всех рыб в пирог заворачиваются. Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают.

Белы медведи молоком торгуют (приучены). Белы медвежата семечками да папиросами промышляют. И птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.

Пингвины у нас хоша не водятся, но приезжают на заработки — с шарманкой ходят да с бубном. А новы обезьяной одеваются, всяки штуки представляют, им и не пристало одеваться обезьяной,— ноги коротки. Ну, да мы не привередливы, нам хошь и не всамоделишна обезьяна, лишь бы смешно было.

А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да ишшо вприсядку пустятся — ну, до уморения. А моржи да тюлени с нерпами у берега в воды хлюпают да поуркивают — музыку делают по своей вере.

А робята поймают кита, али двух, привяжут к берегу да и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пушшать.

А бурым медведям ход настрого запрешшен.

По зажилью столбы понаставлены и надписи на них: «Бурым медведям ходу нет».

Раз вез мужик муки мешок: это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу.

Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Сташшил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло, он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, аль кислыми штями, а потом, думат, разживется и самогоном торговать начнет. Да его узнали. Что смеху-то было! В воде выкупали! Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город погнали.

За Уймой медведь заплакал. Ну, у нас народ добрый: дали ему вязку калачей, сахару полпуда да велели в праздники за шаньгами приходить.

СЕВЕРНО СИЯНИЕ

Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим. День работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду. А к темному времени опять отживается.

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открыть нельзя: мороз градусов триста! А возьмешь северно сияние, теплой водичкой смочишь и зажгешь. И светло так горит, и воздух очишшат, и пахнет хорошо, как бы сосной, похоже на ландыш.

Девки у нас модницы, маловодны, северно сияние в косы носят — как месяц светит. Да ишшо из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!

Про наших девок в песнях пели:

У зари у зореньки много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет.

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.

ЗВЕЗДНОЙ ДОЖДЬ

По осени звездной дождь быват. Как только он зачастит, мы его собирам, старамся.

Чашки, поварешки, ушаты, крынки, латки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходяшшу посуду выташшим под звездной дождь. Дождь в посудах устоится, свет угомонится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.

Пиво тако крепко живет! Мы этим пивом добрых людей угошшам во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом, бывало, так звезданем, что от нас кубарем катятся.

Нас-то самих это пиво и веселит и молодит. У нас кто часто пьет, лет по двести живет.

Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: ведь кругом народ знающший, свой, соврать не дадут; у нас так и зовется: «Не любо — не слушай».

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

А то ишшо вот песни.

Все говорят: «В Москву за песнями». Это так зря говорят. Сколь в Москву не ездят, а песен не привозили ни разу.

А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.

Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.

А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не порато верим.

Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.

А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху быват и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которы крепки слова, те



в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.

Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана,— идешь и спотыкашься. А нова улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело.

Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано.

Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).

— Ты это что,— кричит Анисья,— курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала,— прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала, как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.

— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дождаться,— оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, наскрозь прошибет.

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу,— просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны,— каки ни на есть бабушки, матери-потаковшшицы подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блестят, звенят. Которы робята окоемы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет коле-

чушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: «Милый, приходи, любый, заглядывай».

Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!

Как-то шел заморской купец (зиму у нас проводил по торговым делам), а известно — купцам до всего дело есть, всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшенье — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:

— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена.— Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну — в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:

— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.

Вот и стали девкам песни заказывать да в особый яшшик складывать, таки термояшшики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы. В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.

Вот яшшики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и

все. Люди в ладоши захлопали, закричали: «Ишшо, ишшо». Да ведь слово — не воробей: выпустишь — не поймашь, а песня что соловей: прозвенит — и вся тут. К нам шлют письма, депеши: «Пойте песен больше, заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»

А сватьина свекровка,— ну, та самая, котора отругиваться бегала,— в песни втянулась. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет; как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Баб-кина песня — жемчуга да бральянты самоцветы, внучкино вторенье — как изумруды. Столь антиресно, что уж думали в музей сдать на полюбованье. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто и каждый норовил свое сморозить, а покупали что приезжи сморозят — будто привозно лутче.

Ну, бабкину песню в термояшшик.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

В кузницах стукоток стоит — термояшшики сколачивают.

На песнях много заработали. Работа не сколь трудна.

Мужики заговорили:

— Бабы, зарабатывайте больше. Надоели железны крыши, в них и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделам из серебра и позолоченны.

Бабы не спорят:

— Нам английских денег не жаль...

Мужики выпрямились, бородами тряхнули:

— Вы это, бабы, для кого песни поете? Дайко-се мы их разуважим, «почтение» окажем.

Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было! И одно другого крепче.

Для тех песен особенны яшшики делали. И таки большушши, что едва в улицы проворачивали.

К весне мороженых песен кучи наклали.

Заморски купцы снова приехали. Деньги платят, яшшики таскают, грузят да и говорят: «Что порато тяжелы сей год песни?»

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с уважением, значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда очень уважам. Как к слову приведется, кажной раз говорим: «Кабы им ни дна ни покрышки!» Это по-вашему значит — всего хорошего желам. И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труб не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли. Поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла.

Домой приехали, сейчас — афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.

Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.

Вот яшшики наставили, раскупорили все разом. Ждут.

Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и — почали обкладывать.

На что заморски купцы нашему языку не обучены, а поняли!

ИЗ-ЗА БЛОХИ

В наших местах болота больши, топки, а ягодны. За болотами ягод больше того, и грибов там, кабы дорога проезжа была,— возами возили бы.

Одна болотина верст на пятьдесят будет. По болотине досточки настелены концом на конец, досточка на досточку. На эти досточки надо ступать с опаской, а я, чтобы других опередить да по ту сторону болота первому быть, безо всякой бережности скочил на досточку.

Каак доска-то выгалила! Да не одна, а все пятьдесят верст вызнялись стойком над болотиной-трясиной.

Что тут делать?

Топнуть в болоте нет охоты,— полез вверх, избоченился на манер крюка и иду.

Вылез наверх. Вот просторно! И видать ясно. Не в пример ясней, чем внизу на земле.

А до земли считать надо пятьдесят верст.

Смотрю — мой дом стоит, как на ладошке видать. До дому пятнадцать верст. Это уж по земле.

Да, дом стоит. На крыльце кот дремлет-сидит, у кота на носу блоха.

До чего явственно все видно.

Сидит блоха и левой лапкой в носу ковырят, а правой бок чешет. Тако зло меня взяло, я блохе пальцем погрозил, а блоха подмигнула да ухмыльнулась: дескать — достань! Вот не знал, что блохи подмигивать да ухмыляться умеют.

Ну, кабы я ближе был, у меня с блохами разговор короткой — раз, и все.

Тут кот чихнул.

Блоха стукнулась об крыльцо, да теменем, и чувствий лишилась. Наскакали блохи, больну увели.

А пока я ахал да руками махал, доски-то раскачались, да шибко порато.

«Ахти,— думаю,— из-за блохи в болоте топнуть обидно».

А уцепиться не за что.

Вижу — мимо туча идет и близко над головой, да рукой не достать.

Схватил веревку,— у меня завсегды с собой веревка про запас; петлю сделал да на тучу накинул. Притянул к себе. Сел и поехал верхом на туче!

Хорошо, мягко сидеть.

Туча до деревни дошла, над деревней пошла.

Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемша росла. Слободным концом веревки за черемшу зацепил. Подтянулся. Тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячу воду, другой край — в кадку для холодной воды, окачиваться, а остатну тучу отпустил в знак благодарения.

Туча хорошее обхождение помнит. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала легким дожжичком.

ЛЁТНО ПИВО

Ну, и урожай был на моем огороде! Столько назрело да выросло, что из огорода выперло. Которо в поле, то ничево, а одна репина на дорогу выбоченилась,— ни проехать, ни пройти.

Дак мы всей деревней два дня в репе ход прорубали.

Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе таку, что два воза с сеном в ряд ехали.

А капуста выросла така, что я одним листом дом от дожжа закрывал. Учены всяки приезжали, мне диплом посулили. У меня и рама для его готова,— как пошлют, так вставлю.

На том же огороде, из которого репа выперла на дорогу, хмель вырос-вызнялся. Да какой! Кажну хмелеву ягоду охапкой домой перли. А котора хмелева ягода больша, ту катили с «дубинушкой»!

Стали пиво варить с новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит.

А поп у нас был, Сиволдаем мы его звали. Отец Сиволдай да отец Сиволдай. Настоящшо имя позабыли, подходяшшо и это было.

Терпежа нет у Сиволдая дождать, ковды пиво выбродит.

— Я,— говорит,— братия, для пива готов, значит, и пиво для меня готово!

Нам что. Брюхо не наше,— пей. Назудился Сиволдай пива. Вот в ём пиво-то и забродило, заурчало. Сиволдая горой разнесло.

Мы с диву только пятимся,— долго ли до греха!

А Сиволдай на месте пораскачался, да и заподымался, да и полетел. И вопит:

— Людие, киньте веревку, а то далеко улечу!

А мы от удивленья рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка.

Сиволдая отнесло в надполье. Поп летит и перекувыркивается через голову. Потом объяснил, что это он земны поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп,— его как прорвало!

Дак хошь верь, хошь не верь,— через семь деревень радугой!

Воротился Сиволдай без вредимости. Упал на кучу сена, свежекошено было.

Теперича летать нипочем. Примус разведут, приладятся и летят. А в старо время только наша деревня летала.

В больши праздники, в гулянки мы лётно пиво особливо варили.

Как которы пьяны забуянят — сейчас мы этого пива лётного чашку али ковш поднесем.

— Выпей-ко, сватушко!

Пьяной что понимат? Вылакат,— ево и выздынет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтобы далеко не улетел, да прицепим к огороду али к мельнице. Спервоначалу в одно место привязывали,— дак пьяны-то драку учиняли в небе. Ну, за веревку их живым манером растаскивали жоны; своих мужиков кажна к своему дому на веревке, как змеек бумажной на бечевке, волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жон колотить хотят, а жоны с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе, скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жоны веревки укоротят, ну, мужья и дома.

БАНЯ В МОРЕ

В бывалошно время я на бане в море вышел.

Время пришло в море за рыбой идти. Все товаришши, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слыхал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Я недолго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком; вышла настояшша мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пар нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами по воде вавилоны развела!

У бани всякой угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углями воду за версту зараскидывала, небывалошну-невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокое, берега киснут. А по середке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.

Тут до кого хошь доведись — переполошится! Со стороны глядеть — похоже и на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.

Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы, рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышлям.

С судов промышляют по-обнакновенному, как раньше заведено. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному, шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок немного накладешь!

Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить, я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, другое подходит. На место полного. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвошшется, от рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготней.

Чтобы дым позанапрасно не пропадал, у трубы коптильню завели, это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.

В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил. Судно — не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь.

Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.

К дому поворотились гружены суда. Тут и я с баней расстался, за дверну ручку попрошшался, впредь гостить обешшался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить, мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морскую воду да на рассоле закисла и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима стукнула, вода застыла. И от самой нашей Уймы до середки моря, до бани значит, ровненька да гладенька дорожка смерзлась.

Мы в ту зиму на коньках по морю в баню бегали. Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, как Мамаевы полчишша. Мы в баню идем — невода закидываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся,—

невода полнехоньки рыбы на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахивам, показывам, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не остывал, вот сколь скоро домой доставлялись!

Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить.

С того разу и повелись зимны рыбны промыслы.

Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становищам, хорошему народу на пользу. К той поры тесто в полну пору выходило, по морю шло, а это не ближной конец. Промышленники тесто из воды в печки лопатами закидывали, которой кусок пекся караваем, а которой рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала.

Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.

Коли не веришь, так съешь трески, хотя одну трешшину фунтов хотя бы на десяток. Вот тогда чаю захочешь и мне верить будешь.

Баня по середке моря осталась и не понимат, в толк не берет, что мы к ней дорогу потеряли, сама в себе жар раздувала, пар поддавала и в таку силу, что наше море студено теплеть стало.

Вот этому приведется поверить! Спроси у нас хошь старого, хошь малого — всяк одно скажет, что за последни годы у нас зимы короче стали и морозы легче пошли. Все это моя баня своим теплом сделала.

БРЮКИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ВЕРСТ ДЛИНЫ

Выспался я во всю силу. Проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь легкой потяготой. До города вытянулся, до рынку, до красного ряда, где всякими материями торгуют.

Купцы свои лавки отворили. Чиновники да полицейски в лавки шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке,— это для почину: кому сколько по чину.

Я руки разминаю, чиновников по болотам, по трясинам кидаю. Модницы чиновницы прибежали деньги транжирить — мужья не трудом наживали, женам не трудно проживать. Я себя топтать разрешения не дал, я не мостовая, модницам до лавок ходу нет.

Купцы ко мне с поклонами и с вежливым разговором:

— Ах, как оченно замечательно хорошо, Малина, что ты чиновников да полицейских грабителей по болотам распределил. Они нам и перьвы помошники капиталы наживать, да умеют с нас шкуру сдирать. А без модниц сидим мы за выручкой без выручки. Сколько хошь отступного за освобождение прохода?

— До денег я не порато падок, сшейте мне штаны на теперешной мой рост. Рубаху с вас не прошу — домоткану ношу. Мера штанам, пока дальше не вытянулся, восемнадцать верст, прибавьте на рост пять верст.

У купцов брюха подтянулись, рожи вытянулись, рожи покраснели, глаза побелели, как пуговицы от подштанников. Купцы и рады бы полицейских позвать, да те далеко, до болота не ближной конец! Материю собрали, штаны сошили восемнадцативерстовые с пятиверстовым запасом.

Я рынок освободил: вызнялся у себя на повети. Брюки упали матерчатой горой поперек деревни, дорогу завалили, двадцать семь дворов закрыли.

По жониному зову все сватьи, кумушки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и робята в новы брюки оделись.

Только одному попу Сиволдаю штанов не хватило, да на нем не видно, в штанах али в юбке идет.

С нас купцы во все времена все тянули себе: и капиталы и каменны домы. Довелось и мне потянуться и стянуть с купцов штаны на всю Уйму.

В городу думали, я к ним ишшо потянусь, имать сготовились, счет за убытки приготовили.

Я потягивался, да в други стороны. Куда ни потянусь — ноги все на повети, и ходить не надо: руки сложу — и дома сижу.

В РЕКЕ ПОРЯДОК НАВЕЛ

Хорошо в утрешну пору потянуться,— косточки вытягиваются, силушка прибавляется.

Ногами на повети уперся, а сам потянулся в реку посмотреть, как там жизнь идет. В водяной прохладности большой беспорядок оказался. Шшуки зубасты, горласты, мелку рыбу из конца в конец гоняют, жрут, глотают, как

водяны полицейские, и други больши рыбы за той же мелкотой охотятся. Я руки раскинул и первым делом давай шшук из воды к себе на двор выкидывать! Ну, семгу, стерлядь не обходил — тоже ловил.

Зубастых рыб меньше — мелкой рыбе легче. Рыбья мелкота обрадела, круг меня кружатся, своим рыбьим круженьем благодаренье мне выказывают, а сами веселятся без опаски, плавают, ныряют без оглядки.

Решил я им, мелким рыбешкам, ишшо удовольствие сделать. Одной рукой я в реке, а другой рукой с берега кустов малиновых надоставал да в воду на дно реки и посадил. Эта обнова рыбешкам очень по вкусу пришлась: ягоды для еды, а кусты — место, куда от шшук полицейских прятаться. С той поры мелка рыба нам в рыбном промысле помогать стала. Как мы на ловлю выедем, мелка рыба показыват, куда сети закидывать. Уловы у нас пошли больши, прибыльны. Полицейски чиновники до чужого добра падки — и тут не прозевали. Приехали к нам рыбу ловить. Невода закинули во всю реку, рыбу ловят в нашей воде, а мы слова сказать не смеем.

А рыбья мелкота собралась скопом да артельным делом всякого хламу со дна в невода натолкали: и камней, и пней, и кокор, и грязи — и всего, что только лишно было. Дно, как улицу, для просторного гулянья вычистили. Полицейски чиновники с большой натугой невода выташшили, хлам на берег вытряхнули, а не отступились, вдругоряд сети закинули.

Мелка рыбешка и другой раз изготовилась: малиновы кусты за листики да за тонки веточки уцепили и ко дну прыгнули, а колючи ветки кверху выгнули.

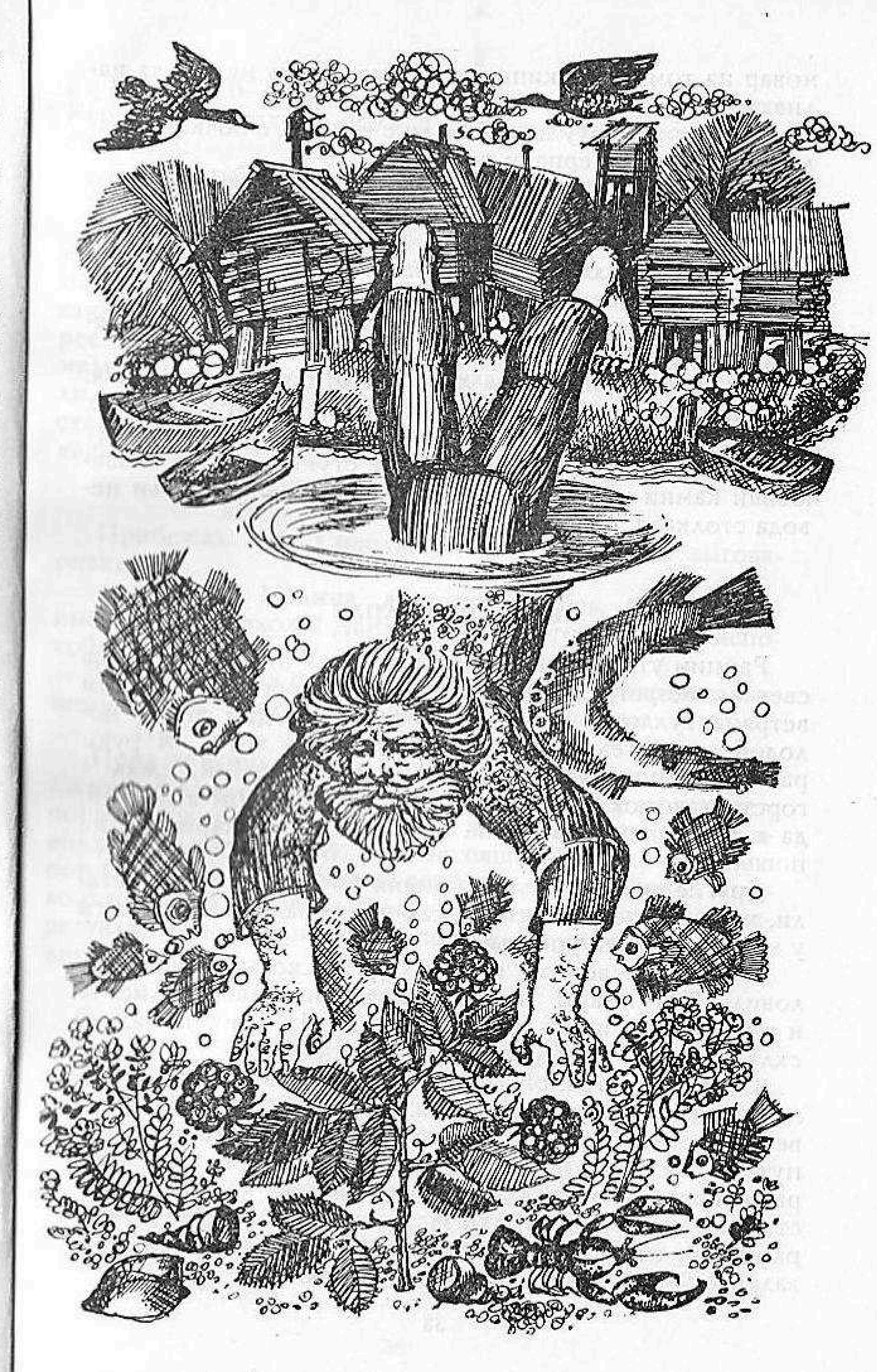
Поташшили полицейски чиновники невода по дну, об колючки зацепили, прирвали и вытаршили одно клочье от неводов.

И сделали постановление: в этом пустопорожном месте дозволяется ловить рыбу беспрепятственно.

В прочишшенной воды рыбы много пошло — нам и любо и ладно.

Малиновы кусты на речном дне совсем другомя заросли, нежели на сухой земли.

Как ягоды поспевать начнут,— со дна реки малинова наливка заподымается. Черпать надо поутру. Солнышко чуть светит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойной, а в одном месте забурлит, как са-



мовар на том месте кипит,— тут вот и есть малинова наливка.

Мы к тому месту подъезжали с чанами, с бочками, малинову наливку черпали порочками.

Мы малиновой наливки полны бочки сорокаведерны к каждому дому прикатили да в ушатах добавошной запас сделали. На малиновой наливке кисели варили, квасы разводили, малиновой наливкой малых робят поили, а для себя хмелю подбавляли, и делалась настояшша виннопитейна настойка. Только с похмелья голова не болела да ум не отшибало.

Вот кака хорошесть да ладность от согласного житья. Я мелким рыбешкам жизнь устроил, а они мне втрое. Я и с рыбой, я и с наливкой, а купаться пойду, в воду нырну — ни на какой камешек не стукнусь — все мешаюшши камни мелка рыба в полицейски, чиновничьи невода столкала.

ВЕТЕР ПРО ЗАПАС

Ранним утром потянулся да вверх. У нас в Уйме тишь светлая, безветрая. Потянулся я до второго неба. А там ветряна гулянка, ветряны перегонки. Один ветер молодой засвистел да на меня — напугать хотел. Я руки раскинул, потянулся, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок да за пазуху сунул. Сунул бы в карман, да я в исподнем был, а на исподнем белье карманов не ношу.

Другие шалуны ветры на меня по два, по три налетали, хотели с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повети уперты!

Я молодых ветров, игривых да ласковых, много наловил. Тут стары ветры заворчали, заворочались — и в меня. Бросились один за одним. Ну, и их за пазуху склал.

Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударился. Я и шторм смял. Наловил всяких разных ветров: суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полну пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали, которы поуркивают, которы посвистывают. Я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул, ветрам велел тихо сидеть, прежде дела не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю.

На поветь воротился — на мне рубаха раздулась. Кабы не домоткана была рубаха — лопнула бы. Жона спросила:

— Чем ты эк разъелся?

— Не разъелся, а ветром подбился.

Вытряс я ветры в холодну баню, на замок запер, палкой припер. Это мой ветряной запас. Коли в море засобираюсь сам или соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром, завсегда попутным, мы ходили скорее всяких пароходов-скороходов. В тиху пору ветер к мельничным размахам привязывали. Ветром белье сушили, ветром улицу чистили и к другим разным домашностям приспособляли. У нас ветер малых робят в люльках качал, про это и в песне поется:

В няньки я тебя взяла,
ветер...

Прибежал поп Сиволдай, запыхался, чуть выговариват:

— Чем ты, Малина, дела устраивашь, без расходу имешь много доходу? Дайко-се мне этого самого приспособленья!

У меня в руках был ветряной обрывок, собирался горницу пахать. Я этот обрывок сунул Сиволдаю:

— На!

Попа тряхнуло да на мачту для флюгарки закинуло. Сиволдай за верхушку мачты вцепился. Ветер не отстает, поповску широку одежу раздул и кружит Сиволдая. Сиволдай что-то трешшит, как настояшша флюгарка. Долго поп Сиволдай над деревней вертелся, нас потешал. Только с той поры поповска трескотня на нас действовать перестала, мимо нас на ветер пошла, мы слушать разучились.

КАК УЙМА ВЫСТРОИЛАСЬ

Был я в лесу в саму ранну рань, день только начинался. И дожжик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.

Это друг-приятель мой дождь урожайной хорошего утра проспать не хотел.

Дожжик урожайной, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топоришшем в землю.

И-и, как выхвостнулся топор!

Топоришше тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топоришше во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.

Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать. Понапрасну время не терят.

Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новорублены рядами выставают. Избы с резными крылечками и с поветями. У каждой избы для колодца сруб и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули — приучаются тепло беречь.

Я под избенны углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места сшевелил.

Домов-обнов длинной черед покатился к нашей деревне.

Наша деревня до той поры была мала — домишков ряд был коротенькой и звалась не по-теперешному.

Как новы домы заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.

С того часу и деревню нашу стали звать Уймой.

Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли గоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах — где на перьвой зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.

Народ у нас уважительной: по перьвому зову — идут, по перьвому слову — за стол садятся, по перьвому угошшенью — выпивают.

В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день до конца не дойдешь. Мы уж хотели железну дорогу прокладывать — в гости ездить (трамвая в те поры ишшо не знали).

Для железной дороги у нас железа мало было.

Дело известно: при хотенье будет и уменье.

Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхной конец уцепимся, пружину нагнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись — и лети, куда себя нацелил: до середины деревни или до самого конца.

Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.

Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Сама себя показыват, стоит красуется.

А топор работат без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то, новой заказ дал: через речки мосты починить, по болотам переходы досчаты перекинуть. Да как завсегда в старо время, хорошему делу полицейской да чиновник помешали.

Полицейской с чиновником проезжали лесом, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся. Ох, в каку ярость вошли и полицейской и чиновник!.. Лесинку-топоришше сломали, на куски приломали и спохватились:

— Ахти да ахти! Мы поторопились, недосмотрели, с чего началось, от кого повелось, кого штрафовать и сколько взять!

Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской.

Так чиновники и полицейски до самого последнего своего времени остались неотесанными.

ЯБЛОНЕЙ ЦВЕЛ

Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.

Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.

В ту же минуту высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звонче птичьей. Песня ближе, громче, а это дожжик урожайной мне «здравствуй!» кричит.

Я дожжику во встрету руки раскинул и свое слово сказал:

— Любимой дружок, сегодня я никаку деревянность в рост пускать не буду, а сам расти хочу.

Дожжик не стал по сторонам разливаться, а весь — на меня. И не то, что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, будто в обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху в прохладной свежести себя чувствую.

Стал я на огороде с краю, да у дорожного краю, да босыми ногами в мягку землю! Чую: в рост пошел!

Ноги — корнями, руки ветвями. Вверх не очень поддаюсь: что за охота с колокольней ростом гоняться!

Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.

Придумал стать яблоней. Задумано — сделано. На мне ветви кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел и зацвел. Цветом яблонным весь покрылся.

Я подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся.

От цвету яблонного, от спелых яблоков на всю деревню зарозовело и яблочной дух разнесся.

Моя жона перва увидала яблоню на огороде,— это меня-то! За цветушшой, зреюшшой нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила:

— И где это Малина запропастился? Как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит! Да как на это полицейско начальство поглядит?

Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул — и вырядил жону в невиданну обнову. Платье из зеленых листиков, оподолье цветом густо усыпано, а по оплечью спелы яблоки румянятся.

Моя баба приосанилась, свои телеса в стройность привела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.

Вся деревня просто ахнула. Парни гармони растянули, песню грянули:

Во деревне нашей
Цветик яблоня цветет,
Цветик яблоня
По улице идет!

Круг моей жоны хоровод сплели. Жона в полном удовольствии: цветами дорогу устилат, яблоками всех одариват. Ноженькой притопнула и запела:

Уж вы, жоночки-подруженьки,
Сватьи, кумушки,
Уж вы, девушки-голубушки,
Время даром не ведите,
К моему огороду вы подите,
Там на огородном краю,
У дорожного краю
Растет-цветет ново дерево,



Ново дерево — нова яблоня.
Перед яблоней той станьте улыбаючись,
Оденет вас яблоня и цветом и яблоками.

Тако званье два раза сказывать не надо. Ко мне девки и бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплой день иишо больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как, тут в скорой в полной рост пошло. Дерева вызнялись, кусты расширились, травки на радостях больше ростом стали, и где было по цветочку на веточке,— стало по букету. Вся деревня стала садом, дома как на именинах сидят, и будто их свеже выкрасили.

Девки, жонки на меня дивуются да поахивают.

Коли что людям на пользу,— мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними старухи: котора выступками кожаными ширкат, котора шлепанцами матерчатыми шлепат, котора палкой выстукиват. А тоже стары кости расправили, на меня глядя, улыбаются.

И от старух весело, коли старухи веселы. Я и старух обрядил и цветами и яблоками.

Старухи помолодели, зарумянились. Старики увидали — только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя одернули, козырем пошли за старухами.

Наша Уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице — фруктовый хоровод.

От нас яблочно благорастворение во все стороны понеслось и до городу дошло.

Чиновники носами повели, завынюхивали:

— Приятственно пахнет, а не жареным. Не разобрать, много ли можно доходу взять?

К нам в Уйму саранчой прискакали. Высмотрели, вынюхали. И на своем чиновничьем важном собрании так порешили:

— В деревне воздух приятней, жить легче, на том месте больше согласье, а по сему всему обсказанному — перенести город в деревню, а деревню перебросить на городско место.

Ведь так и сделали бы! Чиновникам было — чем дичей, тем ловчей. Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.

У чиновников были чины да печати: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов были капиталы и больши места в городе — места с лавками, с лабазами.

Купцы пузами в прилавки уперлись, из утроб своих как в трубы затрубили:

— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обирам. Мы отступного дать не отступимся. А что касательно хорошего духу в деревне, то коли его в город нельзя перевезти — надо извести.

Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они и ближних и дальнодеревенских грабить доставили.

Чиновницы, полицейшшицы тоже запах яблонной услыхали:

— Ах, каки приятны духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться.

К нам барыни-чиновницы, полицейшшицы, которы на извошшике, которы пешком — заявились. Увидали наших девок, жонок — у всех ведь оподолье в цветах, оплечье во спелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позелепели и зашипели:

— И где это таки нарядности давают, почем продавают, с которого конца в очередь становиться? И кто последний, а я перьва!

А мы живем в саду в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, хлебы сами пекутся.

В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:

У Малины в огороде
Нова яблоня цветет,
Нова яблоня цветет,
Всех одаривает!

Барыни и дослушивать не стали! С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали. Злы личности выставили, зубы шшерят, глаза шшурят, губы в ниточку жмут.

На них посмотреть — отвернуться хочется.

Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву с Уймы собрал, весь репейник выдергал. На чиновниц, на жон полицейских налепил. Они с важностью себя встряхивают, носы вверх подняли, друг на дружку не смотрят, в город отправились.

Тут попадьи прибежали с большушшими саквояжами. Сначала саквояжи яблоками туго набили, а потом передо мной стали тумбами. Охота попадьям яблонями стать — и боятся: «А дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут колдовства?»

От страха личности поповских жон стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а отворенны рты печными отдушинами. Из этих отдушин пар со страхом так и вылетал.

У меня ни крапивы, ни репейника. Я собрал лопухи и облепил одну за другой попадью.

Попадьи оглядели себя, видят — широко, значит — ладно.

В город попылили зелеными копнами.

Перьвыми в город чиновницы и полицейшихи со всей церемонностью заявились. Идут, будто в расписну посуду одеты и боятся разбиться. Идут и сердито на всех фыркают: почему-де никто не ахат, руками не всплескиват и почему малы робята яблочков не просят?

К знакомым подходят об ручку здороваться, а знакомы от крапивы, от колючего репейника в сторону шарахаются.

По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают. Мужей и жгут и колют. Во всем чиновничьем, полицейском бытье свары, шум да битье — да для них это дело было завсегдашно,— лишь бы не на людях.

Приплыли в город попадьи (а были они многомясы, телом сыты) — на них лопухи в большу силу выросли.

Шли попадьи — кажна шириной зеленой во всю улицу. К своим домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота влезть не могут.

Хошь и конфузно было при народе раздеваться, а верхни платья с себя сняли, в домы заскочили.

Бедной народ попадьины платья себе перешили. Из каждого платья обыкновенных-то платьев по двадцать вышло.

Попадьи отдышались и пошли по городу трезвон разносить:

— И вовсе нет ничего хорошего в Уйме. Ихни деревенски лад и согласье от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты и друг про дружку все вызнали!

Чиновницы из форточки в форточку кричали,— это у них телефонной разговор,— попадьям вторили.

Потом чиновницы, как попадью стретят, о лопухах заговорят с хихиканьем. А попадьи чиновниц крапивным семенем да репейниками обзывали.

Это значит — повели благородной разговор.

Теперича-то городские жители и не знают, каково раньше жилось в городу. Нонче всюду и цветы и дерева. Дух вольготной, жить легко.

Ужо повремени малость! Мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.

ОГЛУШИТЕЛЬНО РУЖЬЕ

Сказывал кум Митрий Артамоныч про свое ружье. Ствол, мол, широченный, калибру номер четыре.

Это что четыре! У меня вот тоже ружье, тоже своедельно — ствол калибру номер два!

Кабы ишшо пошире, я бы в ствол спать ложился. А так в нем, в стволе ружейном калибру номер два, я сапоги сушил, провиант носил.

Опосля охоты, опосля пальбы ствол до горячности большой нагревался, и жар в нем долго держался.

В зимны морозы, в осенню стужу это часто было очень к месту и ко времени. От устали отдыхать, али зверя дожидать на теплом стволе хорошо! Приляжешь и поспишь часок другой-третий.

Чтобы тепло попусту не тратилось, я к стволу крышку сделал. Выпалю для тепла, крышкой захлопну — и ладно.

Бывало, сплю на теплом ружье, на горячем стволе, а Розка, собачонка, около сторожем бегат. Как какой непорядок: полицейского, волка али друго какого зверя почует, ставень от ствола оттолкнет в сторону, меня холодом разбудит. Ну, я с ружьем своим от всякого оборону имею.

Мое ружье не убивало, а только оглушало: тако оглушительно!

Раз я дров нарубил, устал, на ружье, на теплом стволе спать повалился. Лесничий с полицейским заподкрадывались. Рубил-то я в казенном лесу. Розка молчком, тихомолком ставень откинула, меня холодом разбудила. Кабы малость дольше спал, меня бы сцапали и с дровами и с ружьем.

Я скочил, стряхнулся, выпалил, да так хорошо оглушил лесничего с полицейским, что у них отшибло и память и всякое пониманье, а движенье осталось. Я на лесничем, на полицейском, как на заправской паре, дрова из лесу вывез. Оглушенных в деревне на улице оставил,

сам в лес воротился. Мне и ответ держать не надо.

С этим оглушительным ружьем я на уток охотился. В саму утрешну рань нашел озерко, на нем утки плавают, в прохладительности туманной покрякивают, меня не слышат.

Ружье-то утки видят,— таку махину не всегда спрячешь! Видят утки ружье, да в своем утином соображении ствол калибру номер два за ружье не признают. Это мне даже сквозь туман явственно понятно.

Утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали, думали: труба в отпуску и по лесу прогуливает себя. Не все ей по воде носиться, захотела по горе походить. Утки таким манером раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся.

Туман тоньшать стал, утки в мою сторону запоглядывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли.

Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне неохота — вода холодна. Кабы Розка, собака, была, она бы живо всех уток выташшила. Да Розка дома осталась.

Жона шаньги житны пекла. Об эту пору у Розки большое дело — попа Сиволдая к дому не допускать. А поп по деревне бродил, носом поводил, выискивал, чем поживиться.

Розка — умна животна — пока все не съедено, пока со стола не убрано, ни попа, ни урядника полицейского, ни чиновника (не к ночи будь помянуто, чтобы во снах не привиделся) и близко не подпустит. Коли свой человек идет: кум, сват, брат, Розка хвостом вилят, мордой двери отворят.

Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю, про уток позабыл.

К уткам понятье и все ихни чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот,— думаю,— достанется мне от жоны за эко упушшенье».

Утки вызнялись, тесно сбились, совешшание ведут.

Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.

Тут-то уток взять дело просто. Я веревку накинул и всю стаю к дому поташшил.

Дождь набежал. Я под уток стал и иду, будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет. Дождь

пробежал, солнышко припекло, я под утками иду,— меня жаром не печет.

Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткинские сборы к полету-отлету, я оглушительно ружье покажу — утки хвосты прижмут, домашностью займутся. Яйца несут, утят выводят.

Вскорости у всех уемских хозяек утки развелись. Всем веселы хлопоты, всем сыто.

Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки дома не было, пришел ко мне и замурлыкал таки речи:

— Я, Малина, не как други-прочи, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружья твоего, я сам на охоту пойду, скорей всех, больше всех разбогатею.

От попа скоро не отвяжешься — дал ему ружье.

Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье-то ему не под силу нести, он ружье — то в охапке, то волоком ташшит. А к месту приташшился вовремя и в пору.

На озере уток большое стадо — больше, нежели я словил. Поп Сиволдай ружьем поцелил и курок нажал, да ружье-то перевернулось, выпалило и оглушило.

Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая! Попа подкинуло да на воду на спину бросило.

Поп Сиволдай не потоп, а весь день до потемни по озеру тихо плавал.

Первыми эко чудо увидали старухи грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:

Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махат,
Он ногами не болтат.
Большо диво, большо чудо!
Поп молчит,
Не поет, не читат,
У нас денег не выпрашиват.
Это сама больша удивительность!

С того дня стали озеро святым звать. Рыба в озере перевелась, утки на озеро садиться перестали.

Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим.

ГУСИ

Моя жона картошку копала. Крупну в погреб сыпала, мелку в избу таскала в корм для телят. Копала — торопилась, таскала — торопилась и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.

Время было гусиного лёту. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один-по-один, один-по-один — все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко один за одним — все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка. Которы гуси не попали, те в раму носами колотились да крылами толкались и захлопнули окошки.

Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать,— кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, как самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосо корится, ворчит, ругается. Двери толкнули — не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрешшало да и охнуло!

Глянули в окошко и видим: изба с печкой, подпечком, с мелкой картошкой для телят с места сорвалась и полетела.

Это гуси крылами замахали да вызняли полдома жилого — избу.

Я из горницы выскочил, за избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу к колу привязал. Хошь от дому и полверсты места, а все ближе, чем за морем. И гусей хватит на всю зиму есть.

Баба моя мечется, изводится, ногами в землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит:

— Ишшо чего не натворишь в безустальной выдумке? Да и како тако житье, коли печка от дому за полверсты? Как буду обряжаться? На ходьбу-беготню, на обряднюю у меня ног не хватит!

Я бабу утихомирил коротким словом:

— Жона, гуси-то наши!

Баба остановилась столбом, а в головы ейной всяки мысли скоры да хозяйственны соображенья закружились. Баба рот захлопнула, мыслям смотр сделала, их по порядку-череду поставила. Побежала к избе — как так и надо, как по протоптанному пути. Гусей разбирать стала: которых на развод, которых сейчас жарить, варить-коптить. И выторапливается, кумушкам и соседкам по всей Уймы гусей уделяет. За дело взялась и устали не знат, и дело скоро ладится; которо в печке пекется, которо в руках кипит, жарится. Моя баба бегат от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть — веревки вьет.

Вот и еда готова. Жона склала в фартук жареных гусей, горячи шаньги сверху теплом из печки прикрыла, в горницу пританшила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась да эдаким манером и друго всяко варенье-печенье наносила и каждой раз тепла притаскивала. В горнице тепло и неугарно. По дороге тепло проветрилось, угар в сторону ушел.

Моя жона в удовольствии от хозяйничанья. Уемски бабы, тетки, сватьи, кумушки, соседки, жонины подруженьки гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, сидят — тоже довольны. У меня жилье надвое — изба от горницы на отлете, не как у всех, а по-особому,— и я доволен.

Только попу Сиволдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному.

— Это дело и я могу,— кричит Сиволдай.— Картошки у меня с чужих огородов много, мне старухи кучу наносили, и на отбор мелкой.

Поп Сиволдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и в избу, и в горницу, и на поветь. Гуси не мешкали и по картофельным дорожкам через двери да в окошки полон дом набились.

Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповской дом подняли. В доме-то попадья спяшша была, громко храпела, проснуться не успела. Поп Сиволдай за гусями жадно бросился, про попадью позабыл. Вот поп заподскакивал:

— Да что это тако! Да как это так? Да кричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали и чтобы жону вернули! Гусей я отпушшу,— вам, мужикам, гуси скорее поверят. Кричите всем деревенским сходом!

Мы Сиволдаю проверку сделали:

— А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом с попадьей вернут тебе гуси?

— Да я дурак, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите!

Мы в поповски дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры говорим, а гуси в поповском дому летят да летят, их уж криком не остановишь. Сиволдаю и дому жалко и попадью жалко — кого жальче и сам не знат. Запричитал поп, возгудел:

Последня жона у попа,
И ту гусй с домом унесли.
И унесли-то в светлой горнице,
С избой да ишшо со поветью.
Остался я без жоны один,
Заместо дому у меня баня да овин.
А и улетела моя попадья
В теплу сторону.
Как домой она воротится,
Да как начнет она бахвалиться:
«Я там-то была, то-то видела,
На гусях в дому перьва ехала».
Мне и дому-то жаль,
А жальче же всего,
Что побыват жона дальше мого.
Снаряжусь-ко я за жоной в поход.
Ты гляди, удивляйся, честной народ!

Поп Сиволдай скоро справился, выбрал место просторно, сел, приманкой для гусей приладился. В широки полы мелку картошку насыпал кучей, в руки взял четвертную с самогоном: «под парами» самогонными легче лететь будет! Тетка Бутеня на голову попу самоварну трубу поставила, для обшшего веселья не пожалела. Сидит поп Сиволдай взабольшным лётным самогонным пароходом.

Не сколь долго поп спутья ждал. Гуси картошку увидали, Сиволдая не приметили, прогоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за полы длинной одёжи поповской.

Смотрим: вызнялся поп Сиволдай на гусях, летит и самогон пьет. Гуси народ тверезой, пьяного духу не любят, особливо самогонного,— гуси попа Сиволдая бросили.

Поп шлепнулся в болото. Под Сиволдаем чавкнуло, брызги в стороны выкинуло. Поп сидит и барахтатся, боится, чтобы в болото совсем не провалиться. Сидит вопит:

— Людие, ташшите меня из болота, покудова я глубоко не просел, покудова у вас не все гуси

съедены, я вам есть помогу, а которы еще не початы — тех я себе про запас приберу, вас от хлопот освобожу.

Наши бабы, как причет, затянули:

Ты бы, поп Сиволдай,
На чужо не зарился,
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Вызволили.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Скоро выташшили.
А теперь, Сиволдай,
Ты в болото попал подходяшшо.
Кабы не твоя толшшина, ширина,
Ты бы в болото ушел с головой.
Мы бы тогда бы
За тебя бы, попа бы,
В ответе не были.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Тут и оставили!

Уж вечером, близко к потемни, мужики выволокли Сиволдая на суху землю, чтобы за попа в ответе не быть. Чиновники да полицейски — одна компания — за попа бы пристали и нас бы оштрафовали.

*

Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах есть захотела. Глаза протерла, гусей увидала — и ну их ловить. Разом гусей кучу ошшипала, в печке жарит, варит.

Гуси со страху крылами махать перестали. Дом-то и остановился, в город опустился, да на ту улицу, по которой архиерея на обед везли. Архиерейски лошади вздыбились, архиерейская карета опрокинулась, архиерея из кареты тушей вытряхнуло. Архиерей на четвереньки стал, животом в землю уперся, ему самому и не вызняться. Попы да монахи думали: так и надо — стали также целым стадом кверху задом. И запели монастырским распевом:

Что оно еси
Прилетело с небеси?
Спереду окошки,

Сбоку крыльцо,
Сзади поветь,
Машины нигде не углядеть!

Архиерей сердитым голосом широко рявкнул:

— Что за чудеса без нашего дозволенья? Кто в дому по небу летат, моих коней да моих прихлебателей стадо пугат?

Сиволдаиха в самолутчо платье вырядилась, на голову чепчик с бантом налепила, морду кирпичом натерла-нарумянила, с жареным гусем выскочила и тонким голосом, скорым говорком да с приседаньицем слова сыпать принялась:

— Ах, ваше архиерейство, ах, как я торопилась, ах, к тебе на поклон! Как знаю я, что ты, ваше архиерейство, берешь и тестяным и печеным, ах, запасла для тебя гусей жареных, гусей вареных и живых неощипанных полной дом. Полна изба и горница и поветь — изволь сам поглядеть!

Архиерея поставили на ноги, и все стадо вызнялось вверх головой.

— Ты, Сиволдаиха, нешто забыла, что мне нельзя мясного вкушать?

— А ты, ваше архиерейство, ешь как рыбу. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Сиволдая, чтобы дал ты ему како ни на есть повышенье да доходу прибавленье.

Архиерей услыхал носом — жареным пахнет, дал согласье на все Сиволдаихины прошенья.

— Пусть твой Сиволдай с крестьян больше дерет. От евонного доходу мне половина идет.

Попадья как получила все, что хотела,— гусей-то и припрятала, архиерею только лишних выпустила. Сама Сиволдаиха к дому привязалась кучером, вожжами по стенам захлопала, по повети ременкой хлопнула. Гуси снова размахались.

И вернулась-таки попадья в нашу деревню. Норовила нам на головы сесть, да мы палками прогнали на прежни стойки, на стары сваи.

Робята-озорники дернули попадью за подол, попадья повернулась не в ту сторону, и сел поповский дом на старо место, только передом в задню сторону, задом на улицу. По сю пору так стоит. Коли хошь, поди погляди, сам увидишь!

А гусями-то поп Сиволдай не попользовался. Наши

робята до всего дознаться хотят. Отворили двери да окна поглядеть, какая сила попадью в город носила? Гуси и улетели.

*

Моя отлетна изба всей Уйме на пользу была. Уемски хозяйки свои печи не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку в моей отлетной избе, топили в очередь и охапками таскали тепло по избам, а в печке варили, жарили, парили кому что надобно — всем жару хватало.

Артельной горшок наварней кипит, артельна печка жарче греет.

В моей избе в артельной печке тепло тако прочно было, что в холодну пору мы теплом обвертывались и ходили без пальтов, без ватных пиджаков.

Попробовал я теплом-жаром торговать. Привез в рынок свежего жару-пару. Не успел Карьку остановить — налетели полицейски, налетели чиновники у чужого добра руки погреть.

— Что за товар? Как продаваешь — отмериваешь, отвешиваешь али считаешь? Да каку цену берешь? Надобно нам это знать, с тебя налог взять!

Я не перечил, начал разговором:

— Вы, ваши полицейства, чиновничества, на теплых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете. Мой товар как раз про вас, попробуйте нашего деревенского жару.

Развернул я воз с теплом из нашей общественной согласной печки и полицейских, чиновников так «огрел», так им «жару поддал», что они долго безвредными сидели. А мы, деревенские, да городской простой народ, в те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили.

ПЕРЕПИЛИХА

Глянь-ко, гость, на улицу. Вишь — Перепилиха идет? Сама перестарок, а гляди-ко, фасониста идет, буди жгется: как таракан по горячей печи.

Голос у ее такой пронзительной силы, что страсть! И с чего взялось? С медведя.

Пошла это Перепилиха (тогды ее другомя звали) за

ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепилиха грабилкой собират-торопится.

Ты грабилку-то знашь? Така деревянна, на манер ковша, только долговата, с узорами по краям. У Перепилихи было бабкино приданое.

Ну, ладно, собират Перепилиха ягоды и слышит: что-то трешшит, кто-то пыхтит.

Глянула, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират!

Перепилиха со всего-то голосу визгнула. И столь пронзительно, что медведя наскрозь проткнула и наповал убила голосом!

Да над ним ишшо долго визжала, боялась, кабы не ожил.

Потом медведя за лапу домой поволокла и всю дорогу голосом верешшала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой Уймы как просека стала. Больши и малы дерева и кусты, как порублены, пали от Перепилихиного голосу.

Дома за мужа взялась — и пилила и пилила!

Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толкнул? Зачем не помог медведя волокчи?

Муж Перепилихи и рта открыть не успел. Перепилиха его перепилила. Так сквозна дыра и засветилась.

Доктор потом рассмотрел и сказал:

— Кабы в сторону на вершок — и сердце прошибла бы!

Жить доктор дозволил, только велел деревянну пробку сделать. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. А как пробку вынет — дух через дыру пойдет и заиграт музыкой приятной. Перепилихин муж наловчился: пробку открыват да закрыват, и на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста.

А Перепилиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги.

Она перво-наперво ум отобьет голосом, опосля того голосом всего исшшиплет, прицарапат.

Мы только выторапливались уши закрыть. Коли ухом не воймуем, на нас голос Перепилихин и силы не имет.

Одиново видим — куры да собаки всполошились, кто куды удирают. Ну, нам понятно — это, значит, Перепилиха истошным голосом заверешшала.

Перепилиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихе обру-



гал, али в гостях не назвал самолутчей гостьюшкой.

Перепилиха отругиваться собралась, а для проминанья голоса у нас по Уйме силу пробует.

Мы еённу повадку вызнали дотошно.

Сейчас уши себе закрыли, кто чем попало. Кто сковородками, кто горшком, а моей жоны бабка ушатом накрылась. А попадья перину на голову вздыбила, одеялом повязалась да мимо Перепилихи павой проплыла. Уши затворены,— и вся ересь голосова нипочем.

Перепилиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху,— по дороге только пыль взвилась.

А жаровихинцы уже приготовились. Двери, окошки затворили накрепко, уши позатыкали. А дома, которы не крашены, наскоро мелом замазали — на крашеное Перепилихин голос силы не имет.

Вот Перепилиха по деревне скется, изводится. А все безо всякого толку.

Жаровихински жонки из окошек всяки ругательны рожи корчат.

Увидала Перепилиха один дом некрашеной, к тому дому подскочила, дак от дома враз щепки полетели.

Жил в том дому мужичонко — Опарой его звали, житьишко у Опары маловытно, домишко чуть на ногах стоял. Опара догадался да на крышу с ушатом воды вылез да и чохнул на Перепилиху цельным ушатом.

Перепилиха смолкла и силу голосову потеряла.

Тут выскочили жаровихински жонки, а в ругани они порато наторели. И взялись они Перепилиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед.

Про воду мы в соображенье взяли. Стали Перепилиху водой утихомиривать, а коли в гости придет — мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала.

Перепилиху мы и на обчественну пользу приспособлям: как чишшемину задумам, сейчас Перепилиху пошлем дерева да кусты голосом рубить.

Да ты погодь уходить, слушашь ты хорошо и для меня самолутчей гостюшко, погодь, может Перепилихин муж завернуть, ты евонну музыку сам послушашь.

ПИРОГ С ЗУБАТКОЙ

Ты послушай, кака оказия с Перепилихой приключилась.

Завела Перепилиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры. Квашню на печку поставила, а сама возле печки спать повалилась. Спят: муж Перепилихи на полатях, а Перепилиха на полу выхрапыват, вроде как сказку сказыват с припевом.

Слышит Перепилихин муж: ровно кто босыми ногами по избе шлепат. Глянул с полатей: квашня-то пошла, тесто через край да на Перепилиху валит, Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся.

Перепилихин муж сдогадался: печку затопил скорешенько, жону посолил, тестом обтяпал, маслом смазал — да в печку.

Испек-таки пирог!

Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:

— Кумовье-сватовье, други-соседи! Покорно прошу ко мне в гости, моей стряпни, моего печенья есть! Испек я пирог с зубаткой, приходите скорее, пока горячность из пирога не ушла!

Мы думали: кака така горячность? Ежели и простынет малость, то горячим запьем. А сами выторапливаемся.

Сам знашь, не в частом быванье мужикову стряпню есть доводится. В Перепилихину избу явились, как по приказу,— все сразу.

Ну и пирожишше! Отродясь такого не видывали! Пирожишше со всех сторон ширше стола и толстяшший и румяняшший, просто загляденье, а не пирог!

Мы к нему и присватались. Бороды в сторону отворотили с помешни. И — как следоват быть, как заведено у нас — у рыбника верхну корку срезали да подняли.

А в пироге Перепилиха! Запотягивалась и говорит: «Ах, как я тепло выспалась!»

Что тут было — и говорить не стану!

Опосля того разу я долго и к маленьким пирогам с опаской подходил.

Мужа Перепилихиного мы через пять ден увидали. Висит на плетню, сохнет. Мы его не с первого разу и признали-то. Думали, какой проходяшший али проезжий — так перемят, так измочен да так измочален! Это все Перепилиха: где бы с поклоном мужику благода-

ренье сказать за тепло спанье в пироге, а она его в воде вымочила, да им-то, мужиком-то своим, всю избу вымыла, вышоркала да и приговаривала:

— После твоих гостей для моих гостей избу мою!

День и ночь висел на плетне Перепилихин муж. На другой день его Перепилиха сняла, палками выкатала, утюгом горячим выгладила и послала нас потчевать корками от пирога.

Мы попробовали, а есть не стали — уж оченно Перепилихой пахло (ведь спала она в пироге-то) и злость Перепилихина на зубах хрустела.

ПУЛЯ

Был у нас капитан один, звали его Пуля. Рассказыват как-то Пуля:

— Иду мимо Мурмана. Лежу в каюте у себя. Машина постукиват исправно, как ей полагатся, а чую: нет ходу. Вышел на мостик, глянул: стоим.

— Что за оказия?

Посмотрел на корму, а от винта широченным кругом треска глушена вскидыватся, взблескиват серебром. Винт колотит да рыбинами брызжет. А пароход — на месте. Мы это на треску наехали!

Матросы пристали ко мне, канючат:

— Дозволь, капитан, рыбу взять. Столько добра задаром пропадат! Да и трюмы пусты!

Ну, ладно, дозволил. Пароход полнехонек набрали. Сами зиму ели, да в рынке сколько продали.

НА ТРЕСКЕ В МОРЕ ГУЛЯЮ

Да что Пуля! Я вот сам на лодчонке выскочил в океан (тоже на Мурмане дело было), от артели поотстал да вздремнул, и сон такой ладной завидел, да лодка со всего ходу застопорила разом. Я чуть за борт не вытряхнулся. Протер глаза — я со всего парусного да поветренного ходу на косяк трески налетел.

В беспокойство не вошел: не к чему себя тревожить. Оглядел косяк, глазами смерил — вышло километров на пятьсот. Длинной палкой толщшину узнал — вышло двадцать пять метров. Дело подходяшше: ехать можно. А на

тресковой косяк лесу всякого нанесло. Смастерил избушку, огонь развел, уху сварил. Рыба тут. На рыбе еду, рыбу варю. Поел да поспал, поспал да поел. Меня треска и кормит и везет.

Пора бы к дому сворачивать. А весь косяк хвостом мотнул да на север повернул. И понеслись мы мимо Новой Земли, в океан Ледовитой. На льдинах встречных алыми платочками, что жоне с Мурмана вез, знаки свои поставил. Погулял, и домой пора. Досками отгородил от всего косяка клин километров в пять. Высмотрел вожака-рыбу, накинул узду. И так ладно вышло! Правлю, куда надо, весь косяк вожжой поворачиваю. К дому свернул. Шибче парохода шел.

В городе у рыбной пристани углом: пристал. Пристал и почал торговать свежей треской: на что свежée — живая в воде.

Продавать стал дешевле богатеев, по грошу на пуд скидывал! Ну, покупатели ко мне валом валили.

Опосля торговли смотряшши, лицезряшши столпились на берегу. Антересно всем поглядеть на тресковой косяк. Ну, я пушшал гулять по треске робят малых с учительшами задарма, а с других жителей по копейке брал.

— Да ты, гость разлюбезной, кушай, ешь треску-то! Из того самого стада, на котором я ехал, только уже не обессудь — посолена.

БЕЛОЙ МЕДВЕДЬ

Я тебе не все ишшо обсказал, что в море было. Знаки-то я поставил, платки по ветру полошшет. Платок алой, что огонь взблескиват, что голос громкой песню вскрикиват.

Когда ишшо кто увидит его, а медведь заприметил — да ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка заваляшшого нет никакого. Одначе, варю себе треску, ем да и в ус не дую.

Медведь наскочил на косяк, лапами хватат, а рыба в воде склизка. С краю за рыбий косяк ни в жизнь не ухватишься!

Сам-то я сижу на середке: мне что, а ты достань!

Медведь с ярости начал рыбу жрать: столько нажрал, что брюхо полнехонько и одна рыбина в зубах увязла. Я медведя веревкой достал к себе и шкуру снял.

Погодь, сичас покажу шкуру, сам увидишь, что медведь полюсной, шкура болшашша, шерсть длинняшша. Кажда волосина метров пять, а вся шкура — двадцать пять.

Жона из шерсти всяко вязанье наделала. И таконоско — чем больше носишь, тем новей становится.

Дайко-ся привстану да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал.

Ох, незадача кака! Ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторской чиновник отобрал. Увидал у меня. Я шкурой зимой дом закутывал: так и жили в теплой избе и топили саму малость, только для варева да для печенья. Теплынь была под шкурой-то!

Пристал чиновник:

— Не отдашь — в Сибирь!

На чиновников управы не было. Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял, вот тут-то жона и взялась за пряжу. Кожа была мягка, толста, я и ее содрал,— мы потом с кашей съели. Шкуру без шерсти да без кожи (что осталось — и сам не знаю) свернул и отдал чиновнику и объяснил, что так сделал нарочно, чтобы везти было легче. А чиновники в ту пору пониманья настояшшего не имели, только ловко грабить умели.

ЧАЙКИ ОДОЛЕЛИ

Вот чайки тоже одолевали меня, ковды я на треске ехал.

Треска — рыба деловитая, идет своим путем за своим делом, в сторону не вертит. А чайки на готово и рады.

Ну, я чаек наловил столько, что в городу куча чаек на моем рыбном косяке выше домов была.

В городу приезжим да чиновникам заместо гусей продавал. Жалованьишко чиновничье — считана копейка. Форсу хошь отбавляй — и норовили подешевле купить. Как назвал чаек гусями да пустил подешевле — вмиг раскупили. А мне что? Кабы настояшши рабочи люди, совестно стало бы. Чиновникам надо было, чтобы на разговоре было важно да форсисто, а суть как хошь. Чаек, гусями названных, за гусей съели и гостей потчевали.

У чиновников настояшше пониманье форсом было загорожено.

АРТЕЛЬЮ РАБОТАЛ, ОДИН ЗА СТОЛ САДИЛСЯ

Вот я в двух гостях гостил, надвое разорвался! Надвое — дело просто, меня раз — на артель расшшипало!

Ехал я на поезде, домой торопился. Стоял на площадке вагона и поезду помогал — ходу подбавлял: на месте подскакивал, ногами отталкивался.

На крутом повороте меня из вагона выкинуло. Вылетел я да за вагон пуговицей зацепился. Моя жона крепко пуговицу пришила, еённо старанье хорошу службу сослужило.

Я уж дожидался, что меня за каку-нибудь железнодорожность зацепит и растянет, а вышло иначе. Меня начало подбрасывать да мной побрякивать. Где брякнет — там и останусь, там и стою, остановки поезду дожидаюсь. Я по дороге у железной дороги частоколом стал. Сам стою, сам себя считаю, а сколько станций, полустанков, разъездов сам собой частой вехой обвешил — и не сосчитал.

Вот машина просвистела, пропыхтела и остановилась. Дальше вашего края ехать некуда. Коли снизу добираться, то тут конец. Коли от нас ехать, то начало.

Я пуговицу от вагона отцепил. Домой большой компанией (и все я) иду, песни хором пою.

В Уйме люди думали: плотники новы дома ставить пришли, али глинотопы на кирпичной завод.

Я артельно ближе подошел. Люди с диву охнули.

— Ох-ти, гляди ты! Сколько народу — и все, как один Малина! Ну, исто капаны! И до чего схожи — хошь с боку, хошь с рожи! И как теперича Малиниха мужа распознат? Эка орава, и все они на один манер — и ростом, и цветом, и выступью! Которой взаправдошной — как вызнать?

У моей жоны слова готовы:

— Которой на работу ловче и на слово бойче — тот и муж мне. Мой-то Малина работник примерной!

Я на жонино слово поддался и всеми частями за работу взялся. В поле и на огороде работаю, поветь починяю, огород горожу, мельницу чиню, дом заново крашу, в лесу дрова запасаю, рыбу ловлю, бабе к новой юбке оподолье вышиваю, хлеб молочу, пряжу кручу, веревки вью. И все зараз и на все горазд!

За работу принялся в послеобеденно время, а к паужне все сготовлено, все сроблено. Баба моя ходит и лю-

буется, а не может вызнать, которой я настояший я. Я на всех работах в десять рук работаю.

Вызнялась жона на поветь, будто на работу поглядеть, и метнула громким зовом:

— Малина, муженек! Поди за стол садись, пора пришла есть!

Я к еде двинулся и весь в одного сдвинулся.

В тех местах, где я стоял при дороге у железной дороги, там выросли малиновы кусты и по сю пору растут. Ягоды сочны, крупны, вкусны.

Я худого не выдумываю, а норовлю, чтобы хорошим людям всем хватило да любо было.

КАК НАРЯЖАЮТСЯ

Наши жонки, девки просто это дело делают. Коли надобно вырядиться для гостьбы али для праздника — всяка самолутчий сарафан свой, а котора и платье на себя наденет, на себе одернет. И кака нать, така и есть.

Взять к примеру мою жону. Свою жону в пример беру — не в чужи же люди за хорошим примером итти?

Моя жона оденется, повернется,— ну, как с портрета выскочила! А ежели запоет в наряде, прямо как на картину любуешься. Ежели моя жона в ругань возьмется, тогда скорей ногами перебирай да дальше удирай и на наряды не оглядывайся.

К разу скажу: котора баба не умет себя нарядно одеть,— хошь и не в дороге, а чтобы на ней было хорошо,— ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду не портила. И про мужиков сказать. Быват так: у другого все ново, нарядно, а ему кажет, что одна пуговица супротив другой криво пришита, и всей нарядности своей из-за этого не восчувствует и при всей нарядности рожу несет будничну и вид нестояшшой.

Сам-то я нарядами не очень озабочен. У меня, что рабоче, что празднично,— отлика невелика. На праздник, на гостьбу я наряжаюсь, только по-своему. Сяду в сторонку. Сижу тихо, смирно и придумываю себе наряд. Мысленно себя всего с головы до ног одену в обновы. Одежу придумаю добротную, неизносную, шитья хорошего, и все по мерке, по росту: не укорочено, не обужено. Что придумаю — все на мне на месте, все на мне

впору. Волосы руками приглажу — думаю, что помадой мажу. Бороду расправлю. По деревне козырем пройду.

Кто настояшшего пониманья не имет, тот только мою важность видит, а кто с толком, кто с полным пониманьем, тот на меня дивуется, нарядом моим любуется, в гости зовет-зазыват, с самолутчими, с самонарядными за стол садит и угошшат первоочередно.

И всамделишной мой наряд хулить нельзя. Он не столь фасонист, сколь крепок. Шила-то моя жона, а она на всяко дело мастерица — хошь шить, хошь стирать, хошь в правленье заседать.

Раз я от кума с гостьбы домой собрался. Все честь по чести: голова качатся, ноги подгибаются. Я языком провернул и очень даже явственно сказал: «Покорно благодарим, премного довольны, довольны всей утробой. И к нам милости просим гостить, мимо не обходить». И все тако, как заведено.

Подошел я к порогу. А на порог ногой не встаю, порогов не обиваю. Поднял я ногу, чтобы, значит, перешагнуть, а порог выше поднялся, я опять перешагнул. Порог свою линию ведет — вздымается, а я перешагиваю.

Да так вот до крыши и доперешагивал. Крыша крашена, под ногами гладка. Я поскользнулся и покатился. Дом в два этажа. Тут бы мне и разбиться на мелки части.

Выручила пуговица. Пуговицей я за желоб дожжевой зацепил.

И на весу, да в вольном воздухе, хорошо выспался. Спать мягко, нигде не давит. Под боком — ни комом, ни складкой.

Поутру кумовья-сватовья проснулись, меня бережно сняли.

Городским портным так крепко, так нарядно пуговицу не пришить, как бы дорого ни взяли за работу.

КАБАТЧИХА НАРЯДИЛАСЬ

Кабатчиха у нас в деревне была богаче всех и хвастунья больше всех. Нарядов у кабатчихи на пол-Уймы хватило бы.

В большой праздник это было. Вся деревня по улице гулянкой шла. Все наряжены, кто как смог, кто как сумел.

3 Заказ 1452

И кабатчиха выдвинула себя. И так себя вырядила, что народ столбами становился: на кабатчиху глядит, глаза протирают, глаза проверяют, так ли видится, как есть?

Такой нарядности мы до той поры не видывали.

Напялила кабатчиха на себя платье само широко с бантами, с лентами, с оборками, со вставками, с крахмалеными кружевами.

Оделась широко. А кабатчихе все мало кажет. Нарядов много, охота всеми похвастать. Попробовала она комоду с нарядами и шкап платяной на себя взвалить, да силы не хватило ташшить.

Придумала-таки кабатчиха, как народ удивить. Себе на бок по пятнадцать платьев нацепила для показу нарядностей запаса.

На голову надела медной газ для варки варенья. Оно верно: посудина у нас в деревне редкостна,— пожалуй, всего одна.

Медной таз ручкой вперед, малость набок. На таз большой цветошник с живыми розанами поставила, шелковой шалью подвязала.

Под мышкой у кабатчихи охапка зонтиков и парусолей.

Это ишшо не все. Перед самым праздником кабатчик привез из городу больши часы стенны. Часы с боем, с большим маятником. Народ этой обновы ишшо не видал, ишшо не знал.

Кабатчиха и часы на себя налепила. Спереду повесила. Идет и завод вертит, на громкой бой заводит.

Маятник из стороны в сторону размахиват. Народ увертыватся, едва успеват отскакивать.

Пришла пора часам бить. Зашипело. Мы думали, кабатчиха на горячу сковороду села. Шипит громко, в пару не видать и жареным не пахнет.

Часы отшипели и ударили бой частым громким звоном, в один колокол и на всю Уйму.

Как сполох ударили.

Вольнопожарны услыхали, мешкать не стали, выташшили вольнопожарну машину с двенадцатью рукавами. В кабатчиху воду стеной пустили из двенадцати рукавов.

Раз бьют сполох — значит, заливай.

Кабатчиха зонтики, парусоли растопырила, от воды загородилась, домой итти поворотилась. Она бы ишшо



погуляла, да наряды носить на своих больших телесах устала и промялась, есть захотела.

Часы все ишшо бьют, вольнопожарна машина воду из двенадцати рукавов все ишшо льет.

Перед кабатчихой разлилась лужа большашша, широчашша, глубочашша — во всю ширину улицы. Лужу не обойти, не перескочить.

Робята догадались, лодку притаШшили, перевоз устроили. Цену брали по копейке с человека.

Кабатчиха, чтобы маятнику не мешать, мелкими шажками шла, к перевозу пришагала:

— Везите меня на ту сторону, мне-ка обедать пора!

Робята ей и говорят:

— С тебя, богачихи, копейки одной мало, плати по грошу с пуда. Как раз гривенник и будет.

Кабатчиха носом дернула, медным тазом на голове блеснула, розанами живыми махнула:

— Я с мелкими деньгами не знаюсь. У меня деньги только крупны, сама мелка монета рупь. Сдачи давайте четыре двоегривенных и один гривенник. И сдачу за мной несите до дому, как я мелких денег в руки не беру.

Где робятам эстолько сдачи набрать?

— Хошь, дак садись за весь целковой, а не хошь — жди, ковда лужа высохнет!

У кабатчихи от злости волненье произошло, от голоду в животе заурчало. Отдала рупь.

Тут поп Сиволдай, как по сговору, как по заказу, явился. От праздничных сборов-доходов поповска широка одежа, как амбар, раздулась: карманы, как чемоданы. Поп руки воздел и запел:

Вот как я вовремя, в пору поспел,—
Как в иголку вдел!
Кабатчиху за рупь везите,
За тот же рупь
И меня перевезите!

Сиволдай с кабатчихой в лодку разом сели. Лодка булькнула и на дно ушла.

В большой праздник, да посередке деревни, да при всем честном народе поп да кабатчиха в лужу сели.

Сели от тяжести богатства, которо на них.

Сиволдай руками, ногами воду бурлит, вода через край пошла. Часы маятником размахивают, воду выплескивают. Вода вскорости вся ушла.

На улице только мокро, грязно место, а в нем Сиволдай с кабатчихой сидят, на два голоса кричат, чтобы их вызняли.

Мы бы и вызняли, да об попа, об кабатчиху свои одежи пачкать пожалели.

Крик полицейски услыхали, прибежали. Поглядели, обрадели.

С кабатчихи часы сташшили, все наряды скрутили, себе под мундиры накрутили. У попа евонны доходы, праздничны сборы отобрали.

Попа с кабатчихой из лужи подняли, домой увели, грязный след замели.

Ну, это дело ихно, полицейско, нам оно постороннe.

ГРОМКА МОДА

Сидел я на угоре над рекой, песню плел, река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой в ладу в согласье живем. Песню плету, узоры выплетаю. Вдруг вывернулся пароходишко прогулошной: городских гуляк возит для проветриванья. Пароходишко свистком, скрипучим визгом меня с песни сбил, я песню потерял на тот час. Я осердился, бечевкой размахнул, свисток сорвал, в тряпку укутал его — и не слышно. Прихожу домой, а у нас франтиха-модница в гостях сидит, из городу приперлась, чаи пьет. Гостья локти расставила, пальцы растопырила для особого модного фасону, чашку в двух перстах едва держит и чай выфыркиват. От своей нарядности важничат и меня зовет:

— Присядь со мной рядышком, песенной выдумшшик!

— От сижанки я. На ногах постою да по избе похожу.

С ней, модницей-франтихой, рядом-то не очень сядешь — така она широка. Кофта вся в оборках, рукава пузырями, а юбка двадцать три метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему ндраву. Я сзаду подошел и под кофтенны оборки, в юбошны складки свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул и сам отскочил.

У модницы как засвистело! Она руками и так и сяк — не униматся — свистит.

Тут гостья выскочила.

— Извините, мне недосужно боле в гостях сидеть, у меня в середке какое-то расстройство, я к фершалу побегу.

Бежит франтиха по деревне, пыль разметат, кур пугат, а свисток вывизгиват на ходу ишшо звонче. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершала прогнали.

Модница-франтиха до самого городу юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом подымала!

В городу шагу сбавила, ради важности двадцатитрехметровой юбкой вертит, а свисток враскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось. Городские франтихи-модницы сполошились, в окна выпялились:

— Что оно тако? Откуда экой фасон?

А модница в свистячей, визжачей юбке ужимочку на личике сделала, губки бантиком сложила, чуть-чуть выговорила:

— Это сама нова загранична мода и прозывается «музыкально гульянье»!

Что тут в городу повелось! Модницы широки юбки напялили и под юбки граммофоны приладили, под юбки девчонок услужаюшших посадили. Девчонки граммофонные ручки вертят, пластинки перевертывают, граммофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармони играть нажаривать почали, в бубны бить стали. У кого услужаюшшей девчонки нету али граммофон не припасен, то взяли будильники, на долгой звон завели да под юбки дюжинами прицепили.

Протопопиха малой колокол с соборной колокольни сташшила, подвесила, идет да каблуками вызваниват!

Жители городски едва не оглохли от экого музыкального гулянья.

Начальство скоропалительно собралось и особым приказом, с запрешшением взамуж выходить и с мужем жить, громку моду запретило.

Все живо угомонилось. Во всех концах стихло. Только у модницы-франтихи свистит и свистит без передыху!

Модница ко мне в Уйму рванулась. Да по берегу нельзя — в кутузку заберут, она в лодку скочила и во всей модной нарядности часов пять веслами шлепала, ко мне уж на ночь глядя добралась и давай упросом просить помочь ей против свисту. Ну, как не помогчи,— я завсегда помочь готов!

— Скидывай, кума, юбку, я перестрою на нову моду.

Модница юбку сняла. Я свисток отцепил, в тряпку укутал его,— опять не слышно. От юбки я двадцать два с половиной метра материи отхватил, на портянки многим хватило. Оставил полметра.

На другой день франтиха нову моду завела. По городу в узкой юбке втихомолку пошла. Шшеки надула напоказ, мол, коли юбкой узка, дак с лица широка.

Городски модницы сейчас же увидели, как им остать? В узки юбки вырядились да на улицу выкатились. А не знали, что шшеки надо надуть — модницы полны рты воды набрали: им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то полнехоньки водой. Идут модницы, глаза выпучили, губы не то что бантиком — круглой пуговицей. Ножками шажки делают маленьки, шагают скоренько. Идут, буди жгутся.

Тут на модниц полицейской чин наскочил, саблей забречал, ногами застучал.

— По какому случаю ходите да молчите, како тако дело умышляете?

Модницы как фыркнули на полицейского чина водой, разом его обмочили.

— Мы из-за тебя из себя всю воду выпустили, из-за тебя модной фасон потеряли! Коли на громку моду запрет наложен, дак тихомолком ходить нельзя запретить!

Полицейского чина модницы разом оглушили, он ничего не слышит, головой трясет, из себя воду выжимат.

Начальство опять собралось, опять заседало-думало и новой приказ объявило:

— Моду, окромя громкой, каку хошь одевайте, только ртов не открывайте.

УЙМА В ГОРОД НА СВАДЬБУ ПОШЛА

Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит — зачем выдумываю.

А ежели выдумка — правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, дак верней жониной правды.

К примеру хошь: стоит вот дом, в котором живу, в котором сичас сижу.

По-ённому, по-жониному, дом на четвереньках стоит,— на четырех углах. А по-моему — это уж выдумка. Мой дом ковды как выстанет, и все по-разному.

В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки шутки выделывать: и так и сяк

повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбатся.

Коли в дом глазами вперишься, то он стоять будет как истукан, не шевельнется, только крыша на солнце зарумянится.

Глядеть надо вполглаза, как бы ненароком.

Да что дом! Баня у меня и вся-то никудышна, скособочилась, как старуха, да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно — у бани весь перед от дыму закоптел.

Вот и было единово это дело: глянул я на баню вполглаза, а баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась и пошла!

Я рот разинул от экой небывалости, в баню глазами уставился,— баня хошь бы что: банным полком скрипнула да мимо меня ходом.

Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.

Ну, тут и меня надо. Скочил на овин и поехал!

А за мной и дом со свай сдвинулся, охнул, поветью, как подолом, махнул, поразмялся на месте — и за мной.

По дороге как гулянка кака невиданна. Оно, может быть, и не первой раз дело эко, да я-то впервой увидал.

Домы степенно идут, не качаются, для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы — сарафанны подолы на гулянке. Которы домы крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.

— Эй вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?

Домы дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:

— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем.

СВАДЬБА

В городу нас дожидались. Невеста — соборна колокольня — вся в пыли, как в кисейном платье, голова золочена — блестит кокошником.

Мучной лабаз — сват — в удовольствии от невестиного наряду:

— Ах, сколь разнарядно! И пыль-то стародавня. Ежели эту пыль да в нос пустишь — всяк зачихат.

Это слово сватово на издевку похоже: невеста — перестарок, не перву сотню стоит да на постройки заглядыватся.

Сам сват — мучной лабаз — подскочил, пыль пустил тучей.

Городски гости расфуфырены, каменны домы с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важны гости расчихались, мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выстали — и как раз в пору.

Пришел жених — пожарна каланча, весь обшоркан, шшикатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи припрятал. Наверху пожарной ходит, как перо на шляпе.

Пришли и гости жениховы — фонарны столбы, непогашенными лампами коптят, думают блеском-светом удивить. Да куды тут фонариному свету супротив бела дня, а фонарям сухопарым супротив нашей дородности.

Тут тако вышло, что свадьба чуть не расстроилась ведь.

Большой колокол проспал: дело свадебно, он все дни пил да раскачивался,— глаза не вовсе открыл, а так вполпросыпа похмельным голосом рявкнул:

— По-чем треска?

— По-чем треска?

Малы колокола ночь не спали, тоже гуляли всю ночь,— цену трески не вызнали и наобум затараторили:

— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!

— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!

На рынке у Никольской церквы колоколишки — робята-озорники — цену трески знали, они и рванули:

— Врешь, врешь — полторы!

— Врешь, врешь — полторы!

Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся:

— Пусть молчат!

— Не кричат!

— Их убрать!

— Их убрать!

Хорошо ишшо, други соборны колокола остроглазы

были, наши приносы-подарки давно высмотрели и завыпевали:

— К нам! К нам!
— С пивом к нам!
— К нам! К нам!
— С брагой к нам!
— К нам! К нам!
— С водкой к нам!
— К нам! К нам!
— С чаркой к нам!
— К нам! К нам!

Невеста — соборна колокольня — ограду, как подол, за собой поташшила. Жених — пожарна каланча — фонарями обставился да кой-кому из гостей фонари наставил. И пошли жених и невеста круг собору.

Что тут началось-повелось! Кто «Во лузях» поет, кто «Ах, вы, сени, мои сени». Колокола пляс вызванивают. Все поют вперегонки и без оглядки и без удержу.

Время пришло полному дню быть, городскому народу жить пора.

А домы-то все пьяным-пьяны, от круженья на месте свои места позабыли и кто на какой улице стоит — не знают. Тут пошла кутерьма, улицы с задворками переплелись!

Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знают, как иттить. Тудою, сюдою али этойдую?

Мы, уемски, домой весело шли. По дороге кто вдоль, кто поперек останавливались, дух переводили да отдыхали.

В ту пору ни конному, ни пешему пути не было.

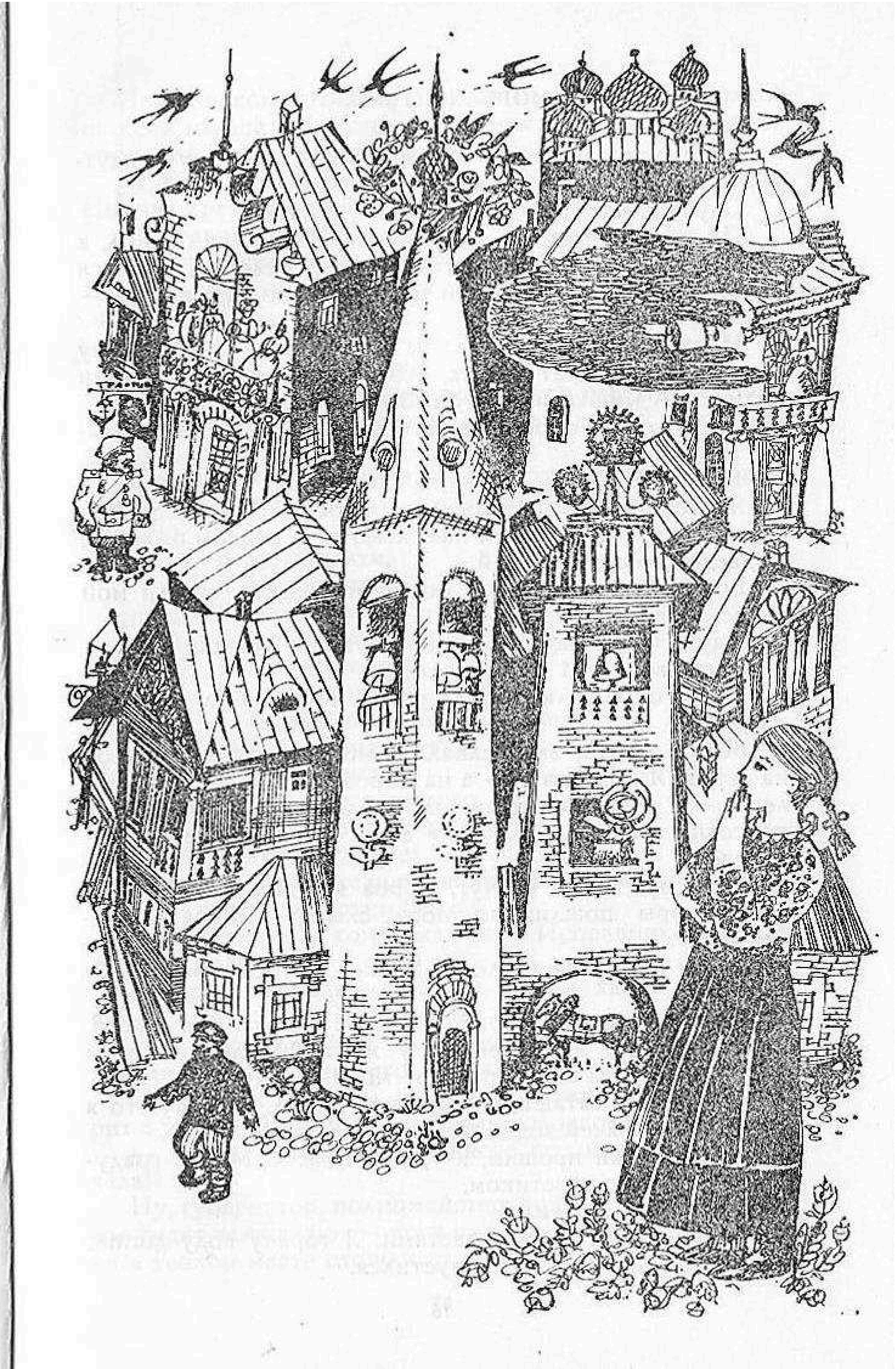
Я на овине выехал, на овине и в Уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит. Баня в свое гнездо за огородом ткнулась — спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул, узнать — как жона, заприметила ли, что в городу с домом была?

А жона-то моя, пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила,— себе обнов накупила, в новы обновы вырядилась, перед зеркальцем поворачивается — на себя любуется. И я засмотрелся, залюбовался и говорю:

— Сколь хороша ты, жонушка,— как из орешка ядрышко!

Жона мне в ответ сказала:

— Вот этому твоему сказу, муженек, я верю.



МОРОЖЕНЫ ВОЛКИ

На что волки вредны животны, а коли к разу придутся, то и волки в пользу живут.

Слушай, как дело вышло из-за медведя.

По осени я медведя заприметил. Я по лесу бродил, а зверь спать валился. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и чуть-чутошно выставился — посматривал.

Медведь это на задни лапы выстал, запотягивался, ну вовсе как наш брат мужик, что на печку али на полати ладится. А мишка и спину и бока чешет и зеват во всю пасточку: ох-ох-охо! Залез в берлогу, ход хворостинками заклал.

Кто не знат, ни в жизнь не сдогадатся.

Я свои приметины поставил и оставил медведя про запас. По зиме охотники наезжают не в редком бываньe, медведей только подавай.

Вот и зима настала. Я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий?

Иду себе да барыши незаработанны считаю.

Вдруг волки. И много волков.

Волки окружили. Я озяб разом. Мороз был градусов двадцать.

Волки зубами защелкали — мороз скочил градусов на сорок. Я подскочил,— а на морозе, сам знашь, скакать легко,— я и скочил аршин на двадцать. А мороз уж за полсотни градусов. Скочил я да за ветку дерева и ухватился.

Я вишу, волки скачут, мороз крепчат. Сутки прошли, вторы пошли, по носу слышу — мороз градусов сто!

И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.

Я разгорячился! Я разгорячился! Что-то бок ожгло. Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была,— дак вода-то скипела от моей горячности.

Я бутылку вытащил, горячего выпил,— ну, тут-то я житель! С горячей водой полдела висеть.

Вторы сутки прошли, и третьи пошли. Мороз градусов на двести с хвостиком.

Волки и замерзли.

Сидят с разинутыми пастями. Я горячу воду допил. И любешенько на землю спустился.

Двух волков на голову шапкой надел, десяток волков на себя навесил заместо шубы, остатных волков к дому приволок. Склал костром под окошком.

И только намерился в избу иттить — слышу, колокольчик тренькат да шаркунки брякают.

Исправник едет!

Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):

— Что это,— кричит,— за поленница?

Я объяснил исправнику:

— Так и так, как есть, волки морожены,— и добавил: — Теперича я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.

Исправник моих слов и в рассужденье не берет, волков за хвосты хватат, в сани кидат и счет ведет по-своему:

В счет подати,
В счет налогу,
В счет подушных,
В счет подворных,
В счет дымовых,
В счет кормовых,
В счет того, сколько с кого!
Это для начальства,
Это для меня,
Это для того-другого,
Это для пятого-десятого,
А это про запас!

И только за последнего волка три копейки швырконул. Волков-то полсотни было.

Куды пойдешь, кому скажешь? Исправников-волков и мороз не брал.

В городу исправник пошел лисий хвост подвешивать.

И к губернатору, к полицмейстеру, к архиерею и к другим, кто поважней его, исправника.

Исправник поклоны отвешиват, ножки сгибат и говорит с ужимкой и самым сахарным голоском:

— Пожалте волка мороженого под ноги заместо чучела!

Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и други-прочие сидят-важничают — ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отошли да и ожили! Да начальство —

за ноги! Вот начальство взвилось! Видимость важну потеряло, и пустилось вскачь и наубег.

Мы без губернатора, без полицмейстера да без архиерея с полгода жили,— ну, и отдышались малость.

СВОИМ ЖАРОМ БАНЮ ГРЕЮ

Исправник уехал, волков увез. А я через него пуште разгорячился.

В избу вошел, а от меня жар валит. Жона и говорит:

— Лезь-ко, старик, в печку, давно не топлена.

Я в печку забрался и живо нагрел. Жона хлебы испекла, шанег напекла. Обед сварила и чай заварила — и все одним махом. Меня в холодну горницу толконула. Горница с осени не топлена была. От моего жару горница разом теплой стала.

Старуха из-за моей горячности ко мне подступиться не может.

Старуха на меня водой плеснула, чтобы остынул, а от меня только пар пошел, а жару не убыло.

Тут меня баба в баню поволокла. На полок сунула — и давай водой поддавать.

От меня пар! От меня жар!

Жона моется-обливается, хвошшется-парится.

Я дождался, ковды баба голову намылит да глаза мылом улепит, из бани выскочил, чтобы домой бежать. А меня уж дожидались, моего согласья не спросили, в другу баню поташшили. И так по всей Уйме я своим жаром бани нагрел! Нет, думаю, пока народ в банях парится, я дома спрячусь — поостыну.

МОЕЙ ГОРЯЧНОСТЬЮ СТАРУШОНКИ НАГРЕЛИСЬ

На улице мужики меня одолели, на ходу об меня прикуривали, всю спину цигарками притыкали.

Домой приташшился — думал отдохнуть — да где тут!

Про горячность мою вся Уйма узнала, через бани слава пошла.

И со всей-то Уймы старушонки пришлепались.

У которой поясницу ломит, у которой спина ноет, али ноги болят, обстали меня старухи и вопят:

— Малинушка, ягодиночка! Погрей нас!

Ну, я вспомнил молоду ухватку, да не то вышло. Как каку старуху за какой бок али место хвачу,— то место и обожгу.

Уселись круг меня старушонки — сморшшенны, скрюченны, кряхтят, а тоже — басятся.

И быдто мы в молодость играм. Старухи взамуж даются, а я сижу женихом разборчивым. Кошка села супротив меня, зажмурилась, мурлыкат от тепла.

Моей горячностью старушонки живо нагрелись, выпрямились, заулыбались, по избе козырем пошли. А новы и в пляс, да и с песней.

Ты, гостюшко, слушатель мой, поди сам знашь: на тиятрах старухи чуть не столетки и по сю пору песни поют молодыми голосами да пляшут-выскакивают чишше молодых. Это с той поры ишшо не перевелось.

Дак вот — старухи по избе павами поплыли и заприговаривали:

— Ты, Малинушка, горячись побольше, горячись подольше. Мы будем к тебе греться ходить!

Моя баба из бани пришла, на старух поглядела и не стерпела:

— Неча на чужу кучу глаза пучить. Своих мужиков горячите да грейтесь!

ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ

Хватила моя баба отнимки, которыми от печки с шестка горячи чугуны сымат.

Ты отнимки-то знашь ли? Таки толсты да широки, из тряпья шиты, ими горячи чугуны прихватывают, чтобы руки не ожечь. Дак вот с отнимками меня ухватила — да в огород, в сугроб снежной и сунула, да и сказала:

— Поостынь-ка тут, а то к тебе, к горячему, подступу нет. Я из-за твоей горячности не то вдова, не то мужна жона,— сама не знаю!

Сижу в снегу, а кругом затаяло, с огороду снег сошел, и пошло круг меня всяко огородно дело!

Не сажано, не сеяно — зазеленело зелено. Вырос лук репчатой, трава стрельчата, а я посередке,— я как цвет сижу.

От меня пар идет. Пар идет и замерзат и все выше да выше. И вызнялась надо мной выше дома, выше леса ледяна прозрачна светелка-теплица.

Надергал я луку зеленого. Вышел из светелки ледяной. Лук ем да любуюсь на то, что над огородом нагородил, любуюсь на то, что сморозил.

Бежит поп Сиволдай. Увидал ледяну светлицу и принялся приговаривать:

— Вот ладна кака колокольня! С этакой колокольни звонить начать — далеко будет слыхать! Народ придет, мне доход принесет.

Жалко мне стало свое сооруженье портить, я и говорю попу Сиволдаю:

— На эту колокольню колокола не вызнять,— развалится вся видимость.

Сиволдай свое говорит, треском уши оглушат:

— Я без колокола языком звонить умею. Сам знашь: скolькой год не только старикам, а и молодым ум забиваю!

Вскарабкался-таки поп Сиволдай на ледяну колокольню. Попадью да просвирню с собой затащил. Обе они мастерицы языками звонить.

Как только попадья да просвирня на ледяно верхотурье уселись, в тую же минуту в ругань взялись. Ругались без сердитости, а потому, что молчком сидеть не умеют, а другого разговору, окромя ругани, у них нет.

Увидел дьячок, смекнул, что дело доходно с высокой колокольни звонить, и стал проситься:

— Нате-ко меня!

Попадья с просвирней ругань бросили и кричат:

— Прибавляйся, для балаболу годен!

Гляжу — и дьячка живым манером на ледяной верх вызняли. Поп Сиволдай для начала руками махнул, ногой топнул. И тут-то вся ледяна тонкость треснула и рассыпалась.

Я на поповску жадность ишшо пуще разгорячился! От моей горячности кругом оттепель пошла, снег смяк. Поп с попадьей, дьячок с просвирней в снегу покатились, снегом облепились, под угором, на реке у самой проруби большими комьями остановились. Ну, их откопали, чтобы за них не отвечать.

Жалко ледяну светлицу-колокольню, а хорошо то, что поп остался без доходу, а народ без расходу.

Поп Сиволдай, как его раскопали, кричать стал:

— К архиерею пойду управу искать на Малину!

Попадья едва уняла:

— Ох, отец Сиволдай, как бы Малина ишшо чего не сморозил. До другой зимы не оттаять.

ЛЕДЯНОЙ ПОТОЛОК НАД ДЕРЕВНЕЙ

Обернулся я на огород, а там расти перестало. Только лук один и успел вытянуться. Моя баба да соседки уж луковицу варят, пироги с луком пекут и кашу луком замешивают. Окромя луку, на огороде никакой другой съедобности не выросло.

Я на попов заново разгорячился, и до самого крайнего жару.

Оттепель больше взялась, и до самой околицы. А за околицей мороз трешшит градусов на двести с прибавкой. Округ деревни мой жар да мороз столкнулись, талой воздух мерзнуть стал, сперва около земли, а потом и выше. И надо всей-то Уймой ледяным куполом смерзлось. На манер потолку. И така ли теплынь под куполом сделалась. Снег — и тот холодить перестал.

Говорят — «улицу не натопишь». А я вот натопил! Потолок над Уймой блестит-высвечиват, хорошим людям дорогу в потемни показыват, а худым глаза лепит да нашу деревню прячет.

Я, как завижу чиновников, полицейских али попов, пушше загорячусь. У нас под ледяным потолком тепла больше становится. Мы всю зиму прожили и печек не топили. Я согревал!

Печки нагрею, бани натоплю. И по огородам пойду. В каком огороде приведется присесть, там и зарастет, зазеленеет, зацветет.

Всю зиму в светле да в тепле жили.

Начальство Уйму потеряло. Объявленье сделало: «Убежала деревня Уйма. Особа примета: живет в ней Малина. Надобно ту Уйму отыскать да штраф с нее cыскать!»

Вот и ишшут, вот и рышшут. Нам скрозь ледяну стену все видно.

Коли хорошой человек идет али едет — мы ледяну воротину отворим и в гости, на спутье, покличем. Коли кто нам нелюб, тому в глаза свет слепительной пушшам.

Теперь-то я поостыл. Да вот ден пять назад доктор ко мне привернул. Меня промерял — жар проверял. Сказал, что и посейчас во мне жару сто два градуса.

НАЛИМ МАЛИНЫЧ

Было это давно, в старопрежно время. В те поры я не видал, каки таки парады. По зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили.

Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался. Я пришел поглядеть.

Я от толкотни отошел к угору, сел к забору — призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно — знаю, что на холосту заряжены.

Как из пушек грохнули! Меня как подхватило,— выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на одном месте, развертело да как трахнуло об лед ногами (хорошо, что не головой). Я лед пробил — и до самого дна дошел.

Потемень в воде. Свету — что в проруби, да скрозь лед чуть-чутошно сосвечиват.

Ко дну иду и вижу — рыба всяка спит. Рыбы видимо-невидимо. Чем ниже, тем рыба крупней.

На самом дне я на матерушшого налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим да и спросонок к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима вытащшил. На морозном солнышке наскоро пообсох, рыбину под мышку — и прямиком на соборну плошшадь.

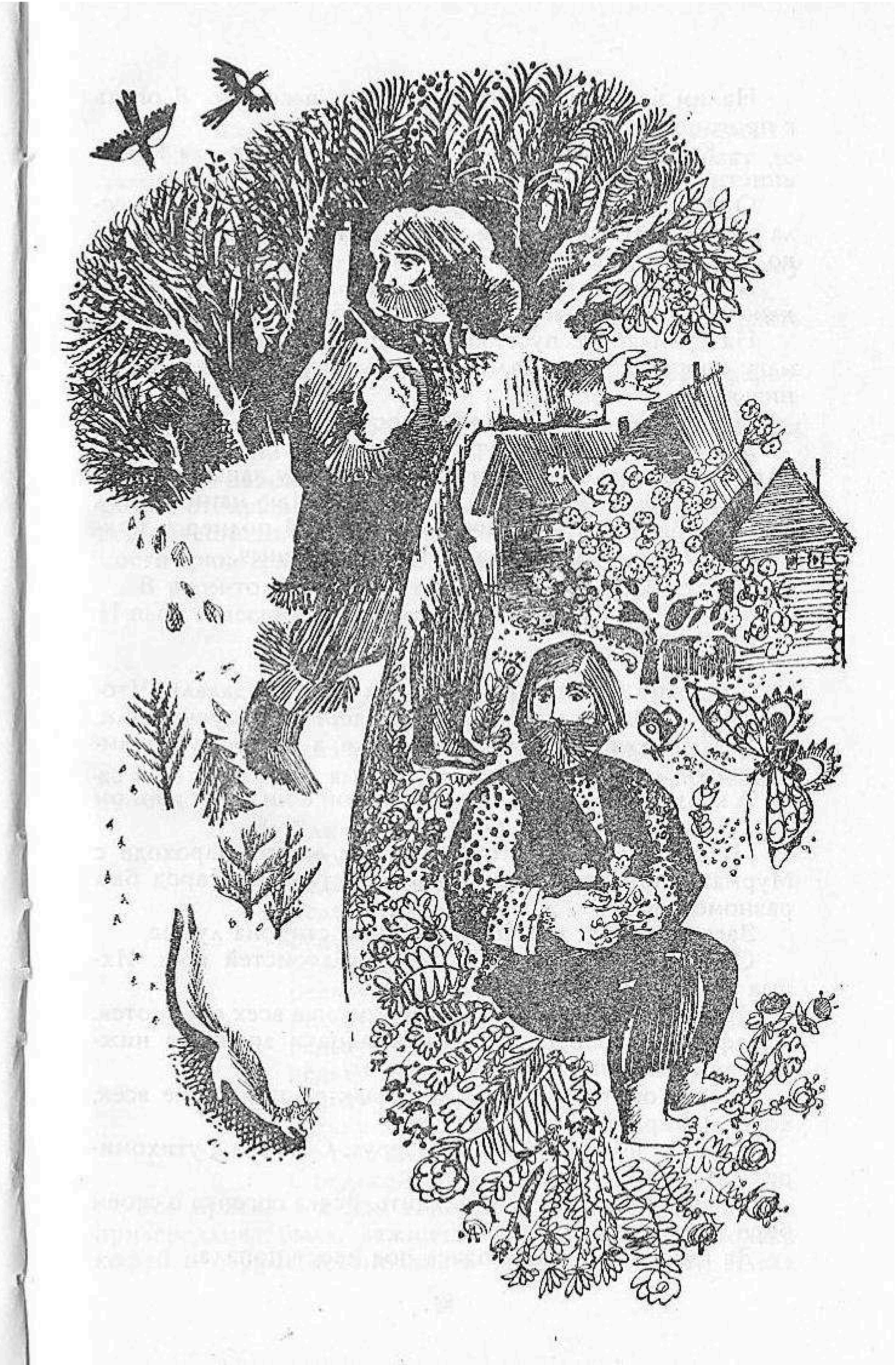
А тут под раз и подходяшшой покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигат себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит.

Я хотел подумать: «Не заводной ли протопоп-то?» Да друго подумал: «Вот покупатель такой, какой надо».

Зашел протопопу спереду и чинной поклон отвесил. Увидел протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходяшше для меня налим на уху, печенка на паштет. Неси рыбину за мной.

Протопоп даже шибче ногами шевелить стал. Дома за налима мне рупь дал и велел протопопихе налима в кладовку снести.



Налим в окошечко выскользнул — и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел и говорит:

— Как бы ишшо таку налимину, дак как раз в мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла налима. Налим тем же ходом в окошечко, да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собаку. Налим хвостом отталкиватся, припрыгиват-бежит.

На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а есть собака охотничья.

Ну, мы и пешком до дому доставились.

Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку записку налепил: «Остерегайтесь цепного налима». Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.

ТРЮМ

В прежне время нам в согласьи жить не давали. Чтобы ладу не было, дак деревню на деревню наускивали.

Всяки прозвишша смешны давали, а другоряд и срамно скажут.

А коли деревня больша, то верхной с нижным концом стравливали, а потом и штрафовали.

Ну, вот было одного разу. Шли мы на пароходе с Мурмана, там весновали товды и летовали. Народ был разноместной.

Заговорили да и заспорили — чья сторона лучше.

Одни кричат, что ихны девки голосистей всех. Ихных девок никаким не перевизжать.

Други шумят, что ихны девки толшше всех одеваются. Сарафаны в поподоле по восемнадцати аршин, а нижных юбок по двадцати насдевывают.

Третьи орут, что у ихных хозяек шаньги мягче всех, коробы жирней, пироги скусней.

Слов уж не хватат, криком берут. Силился я утихомирить старым словом:

— Полноте, робята, горланить. Всяка сосенка о своем боре шумит!

Да где тут! Им как вожжа под хвост попала.

— У нас да у нас!

— У нас бороды гушше да длинней. У нас в старостиной бороде медведь ползимы спал, на него облаву делали!

— А наши жонки ядреней всех!

— А вашу деревню так-то прозывают.

— Ах, нашу деревню? Нашу деревню! А про нашу деревню...

И пошло. До того доспорили, что в одном месте ехать не захотели. Кричат:

— Выворачивай каюты, поедем всяк своей деревней!

Только трескоток пошел. Мы, уемски, трюм отцепили да в нем домой и приехали.

Потом пароходски спохватились, по деревням ездили, каюты отбирали. К нам за трюмом сунулись. А мы трюм под обчественну пивоварню приспособили. Для незаметности трюм грязью да хламом залепили.

В этом-то трюму мы сколько зим от баб спасались. И пьем и песни поем — и хорошо.

САХАРНА РЕДЬКА

Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее есть.

Ели редьку кусками,
редьку ломтями,
редьку с солью,
редьку голью,
редьку с квасом,
редьку с маслом,
редьку мочену,
редьку сушену,
редьку с хлебом,
редьку терту,
редьку маком,
редьку так!
Из редьки кисель варили.
С редькой чай пили.

Вот приехала к нам городская кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила — только кофей и первые восемнадцать чашек без сахару. А как

редьку попробовала, дак и первые восемнадцать, и вторые восемнадцать, и дальше — все с редькой.

А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели и так заболели, что свету не взвидел!

По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго етажа, в горнице по полу катался.

Не помогло.

Побежал к железной дороге, на станцию.

Поезд стоял.

Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел привязаться к последнему вагону, да там кондуктор стоял.

Вот поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел.

Поезд шибче, я — бегом. Поезд полным ходом. Я упал да за землю ухватился.

И знаешь что?

Два вагона оторвало!

«Ох,— думаю,— оштрафуют, да ишшо засудят».

В те поры, в старо-то время, нашему брату хошь прав, хошь неправ — плати.

Я разбежался, в вагоны толкнулся да так поддал, что вагоны догнали-таки поезд и у самой-то станции, где им отцепляться надобно.

Покеда бегал да вагоны толкал,— зубна боль у меня из ума выпала, зубы и болеть перестали.

Домой воротился, а кума Рукавичка с жоной все ишшо кофей с редькой пьют.

Держал на уме спросить: «Кольку чашку, кумушка, пьешь, да куды в тебе лезет?» Да язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:

— Я от компании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.

ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ

А чтобы бабе моей неповадно было меня с рассказу сбивать, я скажу про то время, ковды я холостым был, парнем бегал.

Житьишко у нас было маловытно, прямо сказать, худяшшо. Робят полна изба, подымать трудно было.

Ну, я и пошел в отхожи промыслы. Подрядился у одного хозяина-заводчика лесу плот ему предоставить.

А плыть надобно одному, плата така, что одного едва выносила. Кабы побольше плотов да артелью, дак плыви и не охни.

Но хозява нам, мужикам, связаться не допускали.

Знали, что коли мы свяжемся, то связка эта им петлей будет.

Ну, ладно, плыву да цигаркой дым пушшаю, сам песню горланю.

Вижу — обгонят меня пароходишко чужого хозяина. Пароходишко идет порожняком, машиной шумит, колесами воду раскидыват, как и путевой какой. И что он надумал?

Мой плот подцепил, меня на мель отсунул. Засвистал, побежал.

Что тут делать? Я ведь в ответе.

Хватил я камень да за пароходом швырнул. Камень от размаха по воде заподскакивал. Коли камень по воде скачет, то мне чего ждать? Я разбежался, размахнулся, швырнул себя на воду. Да вскачь по реке!

Только искры полетели. Верст двадцать одним дыхом отмахал.

Догонил пароходишко, за мачту рванул, на гору махнул да закинул за баню да задне огородов. И говорю:

— Тут посвисти да поостынь. У тебя много паров и больше того всяких правов.

Плот свой наладил, песню затянул, да таку, что и в верховьях и в низовьях — верст на пятьсот зазвенело! Я пел про теперешну жону,— товды она в хваленках ходила и видом и нарядом цвела.

Смотрю — семга идет.

— Охти! Да ахти! А ловить-то и нечем.

Сейчас штаны скинул, подштанники скинул и давай штанами да подштанниками семгу ловить. В воде покедова семга в подштанники идет-набивается, я из штанов на плот вытряхиваю. Штаны в реку закину,— за подштанники возьмусь.

А рыба пушше пошла. Я и рубаху скинул под рыбну ловлю. А сам руками машу во всю силу — для неприметности, что нагишом мимо жилья проезжаю. Столько наловил, что чуть плот не потоп.

Наловил, разобрал,— котора себе, котора в продажу, котора в пропажу. В пропажу — это значит от полицейских да от чиновников откупаться.

Хорошо на тот раз заработал. Бабке фартук с оборкой купил, а дедке водки четвертну да мерзавчиков два десятка. (Была мелка така посуда с водкой, прозывалась — мерзавчики.)

Четвертну на воду, мерзавчики на ниточках по воде пустил.

А фартук с оборкой на палку парусом прицепил и поехал вверх по Двине.

Сторонись, пароходы,
Берегись, баржа,
Катит вам навстречу
Сама четвертна!

Так вот с песней к самой Уйме прикатил.

На берег скочил — четвертну, как гармонь, через плечо повесил, мерзавчиками перестукивать почал.

Звон малиновой, переливчатой.

Девки разыгрались, старики козырем пошли!

Не все из крашеного дома, не все палтусину ели, а форс показать все умели.

Моя-то баба в тот раз меня и высмотрела.

*

А пароходишко-то тот, которого я на гору выкинул,— неусидчив был, он колесами ворочал да в лес упятился.

Стукоток да трескоток там поднял.

У зверья и у птиц ум отбил.

А у птиц ума никакого, да и тот глупой.

Пароходски оглупевших зверей да птиц голыми руками хватали.

Тут мужики эдакой охоте живо конец положили.

С высокой лесины на пароход веревку накинули, пароход вызняли, артелью раскачали и в обратну стать на реку кинули.

Я в ту пору уж дома был. Бабке фартук отдал, дедку водкой поил.

С ПРОМЫСЛОМ МИМО ЧИНОВНИКОВ

В старопрежно время над нами, малограмотными, всячески измывались да грабили. К примеру скажу: приходили мы с промысла и чуть к берегу причаливали — чиновники да полицейски уж статьи выписывали и сосчитывали, сколько взять:

Приходно,
Проходно,
Причально,
Привально,
Грузово,
Весово!

Это окромя всяких сборов, поборов, налогов да взяток.

Ну, и мы свои извороты выдумывали. Раз акулу добыли. Страшенна, матерушша увязалась за нами.

Акула в море, что шшука в реке, что урядник в деревне. Шшуку ловим на крючок и акулу на крючок. На шшуку крючок с вершок, а на акулу аршин десять крючишше сладили да для крепости с якорем запустили.

Акула дождалась, разом хапнула и попалась!

Сала настригли полнехонек пароход. Все трюмы набили и на палубе вровень с трубой навалили. Шкуру акулью за борт пустили.

Налетел шторм. Ревет, шумит, море выворачиват! А мы шкурой от воды загородились, нас и не качат. Едем, как в гостях сидим, чай распивам, песни распевам.

Вот к городу заподходили. Жалко стало промысел в чиновничью ненасытну утробу отдавать.

Мы шкурой акульей пароход и перевернули кверху килем. Едем, как аварийны, переоболоклись во все нежелобно — староношенно. Морды постны скорчили,— видать, что в бурю весь живот потеряли.

Ну, мы-то — мы, про нас неча и говорить, а пароход-то, пароход-то,— подумай-косе! Ведь как смысляшшой, тоже затих, машину пустил втихомолку, а винтом ворочал и вовсе молчком.

Нам страховку выдали и вспомошшествование посулили. Посулить-то посулили, да не дали, да мы не порато и ждали.

Проехали с промыслом мимо чиновников,— само опасно это место было. Пароход перевернули, он и заработал в полный голос, и винтом шум поднял, и засвистел во все завертки!

*

Сало той акулы страсть како вкусно было. Мы из того сала колобы пекли и таки ли сытны колобы, что мы стали впрок наедаться. И так ведь было, что колоб съешь — два месяца сыт.

У нас парень один — гармонист Смола — наелся на год разом. И показывался ездил по ярманкам. Сделали ему такой ящшик стеклянной с дырочкой для воздуху.

Смолу смотрели, деньги платили, а он на гармони нажаривал. И все без еды, и есть не просит, и из яшшика не просится. Учены всяки наблюденья делали: и как дышит, и как пышет.

А попы Смолу святым хотели сделать и доход обешшались пополам делить, да Смола поповского духу стесняялся.

Год показывался, денег полну пазуху накопил и устал. Сам посуди, как не устать: глядят да глядят, до кого хошь доведись — устанет.

А мне эти колобы силу давали. Жона стряпат да печет, а я ем да ем. Жона только приговариват:

— Не в частом виданьи эки колобы, да в сытом еданьи. Ешь, ешь, муженек, я сала натоплю да ишшо напеку!

Я наелся досыта. И така сила стала у меня, что пошел на железну дорогу и стал вагоны переставлять, работал по составу составов. Вагоны гружены одной рукой подымаю и куды хошь несу. Составы каки хошь в минуту составлял.

Раз слышу разговор. Губернатор с чиновниками идет и говорит:

— Потому это я ехать хочу, что оченно доходно — с каждой версты прогоны получу за двенадцать лошадей.

«Ох, ты,— думаю,— прогоны получит, а деньги с кого? Деньги с нас, с мужиков, да с рабочих».

Стал свору губернаторских чиновников считать и в уме держу, что всякому прогоны выпишут да выплатят.

А тут с другой стороны заголосили пронзительны голоса, а за ними толсты голоса как рявкнули. Я аж присел и повернулся.

К поезду архиерей идет, его монашки подпирают и визжат скрозь уши. За ними следом дьякона-бассишши, отворят ротишши, духу наберут, ревом рыгнут,— дак земля трясется.

Монашки все кругленьки да поклонненьки, буди куры-наседки,— идут да клюют, идут да клюют, и поют, устали не знают.

Губернаторски чиновники блеск мундирной выпятили и завыступали индюками перед монашками.

А я все счет веду: архиерею опять за двенадцать лошадей, монашки да дьякона тоже взять не опоздают.

Вот дождал, ковды все в вагон залезли. Хватил тот вагон — да и в лес, да в болото губернатора с архиереем да со сворой ихной и снес. Сам скорей домой, чаю горячего с белыми калачами напился, и сила пропала. От чаю да от калачей белых человек слабнет. Для того это сделал, чтобы по силе меня не разыскали.

Губернатор да архиерей с сопровожатыми из вагона вылезли, в топком болоте перемазались, в частом лесу наряды да одежду оборвали,— до дому добрались в таком виде, что друг на дружку не оглядывались. В тот раз и за прогонами не поехали.

БЕЛУХА

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался,— нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму камбалу и в свойстве.

Дак вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товаришши-артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя, это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум в пору!»

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурными вертит.

Я в становишше шапкой помахал, товаришшам-промышленникам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил — и попал. Рванулся белуший вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом мес-

те было мельче верст на пять, я ведь мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться, а на глубе-то я только отфыркнулся.

Все белушье стадо поворотило в море в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чашше взглядывай, плыви не плыви — чашше над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю да над водой спину выгинаю.

Все белы, я один черной. Я нижно белье с себя сташшил, поверх верхной одежи натянул. Тут-то я по виду взаправдашной белухой стал, то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, дак у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше: белухи — пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошно время. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут да на гарпун подцепят.

Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов правлю на мелко место. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я шни-вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узоречье осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становишшу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товаришшам:

«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед самыми нами на мели сидят.

Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывалошно начальство, всяки чиновники — умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили — едва ноги тянули, все начальство отымало.

Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходяшшой, дак иностранцам и охать не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хошь угожденье иностранцам делали.

Иностранцы с судов голосят, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.

А чтобы не налетел чиновник по чужим делам,— сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам,— да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.

Мы море раскачали! Рубахами да шапками махали-махали. Море сморшшилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и иностранны суда смыла, как слизнула с мели.

Иностранцы обрадели, что от ответу избавились, нам кричат:

— Русиш бра, много бра!

Это значит: русски добры, очень добры.

Мы им в ответ свое слово:

— Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы!

Промысел у нас остался богатой. Перво дело — я стадо пригнал, второ дело — иностранцы нам наловили. В бывалошно время начальство нам не дозволяло иметь настояшшо приспособление для промыслу, как у иностранцев.

КИСЛЫ ШТИ

Сегодня, гостюшко, я тебя угошшу для разнолику кислыми штями,— это квас такой есть бутылошной, ты, поди, и не слыхивал про тако питье, про квас такой. Скоро и званья не останется от этого званья.

Вот повсеместно варили кислы шти, а против наших хозяек уемских никому не выстоять. В нашей Уйме кислы шти были первеюшши и такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок.

Да я вот охотник и на белку с кислыми штями завсегда хожу. Приспособлю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит.

Раз я в белку только наметил стрелить — гляжу, а меня волки обступили. Глазишшами сверлят, зубишшами шшелкают по-страшному.

А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.

Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков,— да по мордам, да по глазам!

Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись и всяко соображенье потеряли.

Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город. На рынок прикатил и продал живьем для зверинца в увоз.

А один волк в кустах остался, там о снег да лапами глаза прочишшал. Глаза прочистил, нашел бутылку кислых штей,— это я обронил,— хватил бутылку зубами, а пробка выскочила да в волка, кислы шти в волка.

И так его зарядили и так волком выпалили из лесу, что волка-то в город бросило!

А тут на углу Буяновой у трактира — у «Золотого якоря» истуканствовал городовой полицейский, он пасть открыл — орал на проходяших.

Волк со всего маху да городовому в пасть!

А летел волк вперед хвостом. Так ведь и застрял в пасти. Да оттуда и лает на проходяших жителев да за карманы хватат.

Из карманов деньги и всяко добро падат, полицейский городовой руками махат, чужо добро грабит да в будку к себе сваливат.

Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на жителев.

*

Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не пересказать.

Да вот хоша бы и птицы.

День был праздник, тепло, сидел я на улице, ладился кислы шти пить да с соседом хороший разговор завел.

Кислы шти посогрелись, пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты.



Тут вороны не проворонили, налетели кислы шти пить.

Гляжу — ястреб. И норовит каку ни на есть ворону сцапать.

«Ах, ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе ворон изобижать. Ворона — она птица обстоятельна, около дому приборку делат».

Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. Ну, известно, наповал.

Это что. А вот орел налетел. Высоко стал над деревней и высматриват. И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь загнала — три коровы да две телки — и сама доить стала.

Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.

Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и стрелил кислыми штями в орла.

Гвоздем-то орла проткнуло.

Орел в остатнем лете вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами, и с бабой. На те же сваи угодил, малость скособочил.

Думашь, вру? Подем, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в одну сторону кривовата.

*

А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.

Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, — давай ему того и другого. И штей кислых бочонок. Жонки бочонок порастрясли да в тарантас под чиновника и сунули. Чиновник на бочонок плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?

Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась!

Чиновника выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.

Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной закрыло. Хорошо, что половину, — дру́га пол-Уймы нас откопала. Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.

По реке что твой ледоход. На пять ден всяко движенье пароходно остановилось.

А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не было, так по верху воды и плавала. Мы рыбу голыми руками ловили.

А птицы столько рыбы насли, что сами ожирели, от жиру пешком ходить стали. Мы и их голыми руками имали.

А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от жиру занемогли. Мы и их голыми руками ловили.

И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и вовсе нет.

И были бы мы первыми богатеями, да мы-то имали да ловили голыми руками, а нас чиновники грабили в перчатках.

ДРОВА

Памяти вот мало стало.

Друго и нужно дело, а из головы выраниваю.

Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился, а топора-то нет!

Хоть порожняком домой ворочайся, — веревка одна.

Ну, старой конь борозды не портит, а я-то что? И без топора не обойдусь?

Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину. Пока лесина падала, сухи ветки обломились.

Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:

— Вези к старухе да ворочайся, я здесь подзаготовлю!

Карька головой мотнул и пошел.

А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю, и так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил. Карька до потемни возил. С последним возом и я домой пришел.

Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.

Баба захлопотала и самовар скорей согрела и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угошшат за то, что много дров заготовил.

С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасаюсь, без табаку день валяться трудно.

4 Заказ 1452

СВОЯ РАДУГА

Ты спрашиваешь, люблю ли я песни?

— Песни? Да без песни, коли хошь знать, внутрях у нас одни потемки. Песней мы свое нутро проветривам, как избу полыми окошками. Песней мы себя, как лампой, освешшам.

Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенны плетенки всяку ягоду собирали. Вот под квас али под молоко стихоплетенье не годилось. Покеда не пропето, все решотно живет.

Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранья не терплю! Сам знашь: что ни говорю — верно, да таково, что верней искать негде.

Раз ввечеру повалился на повети и чую: сон и явь из-за меня друг дружке костье мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.

Мне что? Пушшай себе проминаются. Я тихим манером — да в сторону, да в ту, где девки поют, да и до девок не дошел.

Мимо песня текла широка, гладка. Как тут устоишь? Сел на песню, и понесло и вызняло меня в далекой вынос.

Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня все ишшо несет, да все выше и выше,— куды, думаю, меня вынесет? Смотрю, а впереди радуга. Я в радугу вцепился, уселся покрепче и поехал вниз.

Еду, не тороплюсь, не в частом быванье ехать — в радужном сверканье. Еду да песни пою,— это от удовольствия: очень разноцветно-светло вокруг меня. Радугу под собой сгибаю да конец в нашу Уйму правлю, да к свому дому, да в окошко. Да с песней на радуге в избу и вкатился!

А баба моя плакать собралась, черно платье надела да причитанье в уме составлят; ей соседки наказали:

— Твоего-то Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!

Как изба-то светом налилась, да как песню мою услыхала жона, разом на обрадованье повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол выставила.

И чай в тот раз пили без ругани. И весь вечер меня жона «ягодиночкой» да «светиком» звала.

На улице уже потемень, а у нас в избе светлехонько. Мы и в толк не берем — отчего, да и не думам. А как я шевельнусь, свет по избе разными цветами заиграт!

— Что такое?

А дело просто. Я об радугу натерся,— вот рубаха да штаны и светят. А сам знашь: протерты штаны завсегда хорошо светятся, а тут терто об радугу. Но и спать пора и нам и другим, а свет из наших окошек на всю деревню, все и не спят. Снял рубаху да штаны, в сундук убрал. А как потемни наступят, мы выташшим рубаху али штаны и заместо лампы подвесим к потолку.

И столь приятственный свет был, что не только наши уемски, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освешшенья.

Эх, показать сейчас нельзя. Вишь портки на Глинник увезли, а рубаху — на Верхно Ладино. Там свадьбы идут, дак над столами повесили мою одежду, как лимонацию.

Да ты, гостюшко, впредь гости, на спутье захаживай, приворачивай. Будут портки али рубаха дома,— полюбуешься, сколь хорошо, когда своя радуга в дому.

РЫБЫ В РАЖ ВОШЛИ

Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил. Тралов в ту пору в знати не было, ловили на поддев, ловили ярусами — по рыбе на крючок. Так это мешкотно было, что терпенья не стало глядеть.

А рыбы в воде вперегонки одна за другой: столько рыбы, что вода кипит.

Надумал я ловить на подман. Прицепил на крючок наживку да в воде наживкой мимо рыбьих носов и вожу. Рыбы в раж вошли, норовят наживку слопать. А я ловчусь, кручу да мимо продергиваю.

Рыбы всяку свою опаску бросили, так их разобрало. И треска, и пикша, и палтусина, и сайда — все заодно, хвостами по воде бьют, шумят:

— Отдай нам, Малина, наживку, аппетиту нашего не дразни!

Я ногами уперся да приослабил крючок с наживкой. Рыбы кинулись все разом. За крючок одна ухватилась, а друга за ее, а там одна за другу!

Вот тут надо не зевать. Я натужился, чуть живот не оборвал, махнул удилишшем да и выкинул рыбу из воды. Да с самого с Мурмана перекинул в нашу Уйму!

Рыбу отправил, а как будут знать, чья рыба и откудова?

Я живым манером чайку рыбиной подманил, за лапы да за крылья схватил. К носу бумажку с адресом нацепил, а на хвост — записку жоне и отписал:

«Рыбу собирай, соли. Да не скупись — соседям дай. В море рыбы хватит. Я малость отдохну да опять выхвостывать начну».

Об этом у кого хошь спроси, вся деревня знат. А чайка приобыкла и часто у нас гашшивала да записочки носила из Уймы на Мурман, а с Мурмана в Уйму, и посылки, если не велики, нашивала, так и звали — «Малининска чайка».

*

Как домой воротился — на пароходе али в лодке?

На! На пароходе!

Его жди сколько ден! Мурмански пароходы ходили одинова в две недели, да шли с заворотами.

А я торопился к горячим шаньгам.

Смастерил ходули, да таки, чтобы по дну моря шагать, а самому над морем стоять, и чтобы волной не мочило. Табаку взял пять пудов. Трубку раскурил, дым пустил — и зашагал. С трубкой иттить скорей, и устали меньше.

Потом береговые сказывали, что думали: какой такой новой пароход идет? Над водой одна труба, а дыму за пять больших пароходов. Эдакова парохода ишшо ни в заведеньи, ни в знати нет!

Вышагиваю себе да дым пушшаю. Пристал. А тут иностранец меня настиг. Ну, ухватку ихну иностранскую я знаю: капитан носом в карту либо в кружку с пивом, штурмана на себя любуются или счет ведут, сколько наживут; команда друг дружку по мордам лупят (это у них заместо приятного разговора — мордобой, и зовут эту приятность «боксой»).

Я остановил ходули, трубку выколотил. Иностранец со мной сравнялся, я на его и ступил да ходулями к мачтам прижался, оно и неприметно, и еду. Есть захотел. Вижу — капитану мясо зажарили, полкоровы. Я веревкой мясо зацепил и поел. Так вот до городу доехал. Иностранцы смотрят только на выгоду и ни разу на верёх не посмотрели.

А от города до Уймы — рукой подать.

ПЛЯШЕТ САМОВАР, ПЛЯШЕТ ПЕЧКА

Согрела моя баба самовар, на стол горячий вызняла, а сама коров доить пошла. Сижу, чаю дожидаюсь. Страсть хочу чаю. Самовар — руки в боки, пар пустил до потолку и насвистыват, песню поет:

Топор, рукавицы,
Рукавицы, топор!

Я глядел-глядел, слушал-слушал да подхватил самовар за ручки, и пошли мы в пляс по избе.

Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках. А я всей ногой, а я всей ногой!

Печка в углу напыжилась, сначала на нас и не глядела, да не вытерпела, присела, попыхтела да и двинулась. Да кругом по избе павой, павой! А мы с самоваром за ней парой, парой. Да вприсядку! Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках, а я всей ногой, а я всей ногой!

Печка пляшет да песню поет:

Я в лесу дрова рубила,
Рукавицы позабыла!

Самовар паром пофыркиват и звонко подсвистыват:

Березова лучина,
Растопка моя!

Мне бы молча плясать, да как утерпишь, ковды печка поет, заслонкой гремит. Самовар поет, отдушиной свистит. Я и не стерпел да тоже запел:

Эх, рожь не молочена,
Жона не колочена!

Только поспел эти слова выговорить, слышу — в сенях жона подойником гремит да по-своему орет:

Ох, лен не молочен,
Да муж не колочен!

Я едва успел в застолье заскочить, на лавку шлепнуться. Самовар на стол скочил. Печка что! Печка в углу присела, заслонкой прикрылась, посторонком тепло пушшат, как так и надо, как и вся тут!

А каково нам с самоваром? Я едва отдыхиваюсь, а у самовара от присядки конфорка набок, кран разворотился, из крана текет, по столу текет, по полу мокрехонько!

Вот жона взялась в ругань! На что я к этому приобык, и то в удивленье пришел: и откуда берет, куды кладет?

Отвернулся я к стене, а под лавкой поблескиват штоф, полуштоф да четвертна. И все с водкой. Поблескивают, мне подмигивают, в компанию зовут.

Я и ране их слышал, как с самоваром вприсядку плясал. Слышал, что кто-то припеват да призваниват нашему плясу. А это значит, склянцы под лавкой в свой черед веселились. Я их туды от жоны спрятал да и позабыл.

Ну, я к ним, я к ним и одну бутыль за пазуху, другу за другу, а третью в охапку — и на поветь.

В избе жона ругатся-заливатся!

Наругалась баба, себя в сердитость загнала, к кровати подскочила, головой на подушку шмякнулась, носом в подушку сунулась, а ноги от сердитости на полу позабыла. И вот носом ругательски высвистыват-спит, а ногами по полу, что силы есть, стучит. К утру от экова спанья-отдыха из сил баба выбилась пуще, чем от работы. Подумай сам — чем боле баба спит, тем боле ногами об пол стучит!

А я на повети водку выпил, голову на подушку уложил, а всего себя на сене раскидал, ноги в сторону, руки наотмашь. Сплю — от сна отталкиваюсь!

СИЛА МОЕЙ ПЕСНИ ПЛЯСОВОЙ

Сплю это я веселым сном да во сне носом песню высвистываю.

Утресь, глаза отворить ишшо не успел,— слышу топот плясовой, поветь ходуном ходит: я уж весь проснулся, а носом плясовую тяну-выпеваю.

Глянул глазами: на повети пляс! Это под мой песенной храп вся живность завертелась.

Куры кружатся, петух вертится, телка скоком носится, корова ногами перетоптыват, свинья хвостиком помахиват, а сама — кубарем да вопереверты. Розка собачонка порядок ведет — показыват, кому за кем по роду племени в круге иттить. Розка показыват, ковды вприсядку, ковды вприскок.

Глянул во двор, а по двору Карька пляшет, гривой трясет, хвост вверх подбрасыват, ногами семенит с переборами. От Карькиной пляски весь двор подскакиват, дом ходуном пошел!

Баба моя сердито спала ту ночь, вся измаялась. И сердитым срывом меня в город срядила, огородно добро на рынок везти.

Стала баба на телегу груз грузить, сама себя не понимат, а сердитой бабе не перечь!

Картошки натаскала возов пять, да брюквы, да репы, да свеклы, да хрену, да редьки, да моркови, да капусты кочанами, да гороху стрючками — и все возами.

Я только стою да умом прикидываю — на сколько это подвод? Да хватит ли во всей Уйме коней, ежели всю эту кладь разом везти?

А Карька глянул на меня, глазом моргнул — это знак подал, что не я поташшу, а он.

Я на телегу скочил, песню запел развеселу. Карька ногой топнул, другой топнул и заприплясывал на все четыре. Телега заподпрыгивала, кладь заподскакивала, да вверх, да вверх, да вся и вызнялась над телегой!

Брюква с картошкой, с репой, со свеклой вызнялись стволами, редька с хреном, с морковью — ветками, гороховы стрючки — листиками, а капустны кочаны — как цветы на большом дереве!

Вся кладь над телегой, а пусту телегу катить натуга не нужна. Карька пляшет, телега скачет, кладь над телегой идет.

Увидели жители, что я небывалошны дерева на рынок везу, и бросились за моим возом. А как услыхали, что я пою, песню мою подхватили да всем городом запели. Ох, и громко! Ох, и звонко!

Да кого хошь коснись,— всем антиресна эка небывальшина.

За Карькой, за мной, за телегой моей, за возом моим до самого рынку народ шел густой толпой, и все песню пели.

На рынке я Карьку остановил. Карька стал, телега стала, кладь моя по корзинам да по кучам склалась и больше, чем полрынка!

Живым манером все распродал. Деньги в карман положил.

А тут чиновник один подвернулся, ко мне в карман, как к себе домой, как в свой и заехал. А в кармане у меня

завсегда кот сидит, ковды в город еду. Кот царапнул чиновника за руку. Чиновник сначала взвыл, потом вытрунтился, под козырек взял и извинительным тоном гаркнул:

— Прошу прошшенья, как есть я не знал, что в вашем кармане сберегательная касса с секретным замком!

Я ответного слова сказать не успел. Тут поднялся переполох. Я думал и дело како. А всего-то полицмейстер на паре прикатил. Полицмейстер, вишь ты, услыхал пенье многоголосо, ковды я без мала со всем городом пел.

— Како тако происшествие? Почему песни поют без мого дозволенья? — Это полицмейстер орет.

Полицейский подскочил, рапортует:

— Как есть этого мужичонка лошаденка привезла всякого припасу разом на полрынка, жители увидали и от удивленья безо всякого позволенья проделали общее пенье!

Полицмейстер — ко мне, да все криком:

— Может ли твоя лошадь меня везти? Меня пара коней через силу возит, как есть я чин с большим весом!

Отвечаю:

— Карька увезет, ваше полицейство, только прикажите городовым полицейским на телегу сесть да для параду шашки наголо взять кверху.

Полицмейстер посвистал, городовы полицейские сбежались, на телегу уставились тесно, шашки вверх подняли. Полицмейстер посередке сел вольготно.

Я песню завел веселу, Карька взвился плясом-топотом. Телегу заподбрасывало. Полицейски заподскакивали да теснотой держатся. Полицмейстер выскочил над телегой да на шашки и присел, его подкинуло — да обратно на шашки. Его и дальше подбрасывает да обратно на шашки садит. Хоша шашки и тупы, а штаны полицмейстера в клочье прирвали!

Народ хохочет с прозвизгом. Полицмейстеру неохота показать, что попался мужику. Полицмейстер подскакиват с улыбочкой да шинелишкой голы места закрыват. Скоро и шинелишка в клочье. Полицмейстер около своего дому изловчился, скочил в сторону, к народу передом повернулся, чтобы драного места не видно было, да так задом в калитку, задом на крыльцо, задом в дом ускочил!

А полицейские подскакивают да «ура» кричат! Я их очумелых поперек улицы в пять рядов поставил, чтобы никто мне домой ехать не мешал.

Тут купцы со всего рынка пристали ко мне:

— Подвези ты нас на этой лошади, мы тебе по полтине с рыла дадим!

Тут разным жителям загорелось ехать на моей телеге. Прибежали охотники, их двадцать пять, рыболовы, их двадцать пять, ягодников двадцать пять, грибников двадцать пять, дачников двадцать пять, гуляюшших двадцать пять, провожаюшших двадцать пять и купцов двадцать пять, уж на телеге сидят, — и всех до Уймы.

Чем телега хуже трамвая? И на телеге можно друг на дружку сажать.

Деньги собрал. Песню свою запел, поехал. Телегу заподбрасывало, гостей заподкидывало, да ряд над рядом, ряд над рядом. Которой седок не порато высоко-скоро выскакиват и на телегу норовит присесть, — того я быдто ненароком ременкой огрею, он и выше подскочит.

На телеге только я один. Карьке легко, мне весело!

В Уйму приехал, гостей по домам самоварничать пустил. Жоне деньги за огородно добро высыпал, обсказал, что кот сберег.

Баба мого кота молоком напоила, мне самовар поставила и светлым словом заговорила.

Сижу это я у горячей печки с горячим самоваром, с жоной словами говорю, а с печкой, с самоваром переглядкой разговор веду, и договорились мы: как моя баба спать повалится — мы сызнова спляшем. От пляски не устанешь — только разомнешься.

ЗАЖИГАЛКА

Была у меня зажигалка раздвижна. В обнаковенно время — для простого закуру цигарок, а коли куда порато скоро запонадобится — я колесико у зажигалки на полной ход крутану и еду, как на лисапеде. Ежели по ровному месту али под гору, то ходко идет.

Да что, — я на лисапедных гонках перву премию получил!

Мою зажигалку не одинова брали на рыбалку. Там зажигалкой огонь разводили, в зажигалке уху варили,

чай кипятили,— мне свежу рыбу привозили. Сам ел, кошек кормил.

Зажигалка у меня, как подзорна труба, была. Фитиль выдерну, зажигалку переверну и далеко вижу. Раз вот так смотрю на дорогу, а верст за десять от меня обоз с водкой идет, из Архангельского городу водку по деревням в кабаки везут, подвод боле полста. У задней подводы веревки ослабли, и яшшик с бутылками на дорогу скатился. Я зажигалку обернул другим концом и прокричал мужикам, чтобы яшшик подобрали.

Мужики ко мне заехали, четвертную водки завезли. И все бы ладно, зажигалка всем бы на пользу была, да дело вышло с теткой Бутеней, что в Лявле живет.

Скрозь зажигалку глядеть — все одно как из ружья стрелять: так же навылет и через все видно.

Гляжу это я тихим манером скрозь зажигалку свою и увидал: в деревню Лявле тетка Бутеня спать повалилась. В зажигалку я все еённы сны вижу.

Тетка Бутеня страсть охоча в гости ходить. Куды ее позовут — она и идет и приговариват:

— Сегодня — мы к вам, а завтра — нас к вам милости просим.

А коли приведется, что у тетки Бутени гости соберутся, дак она, тетка Бутеня, с поклонами угошшат и скорыми словами приговариват:

— Что вы все едите, так не посидите.

Да растяжно добавлят:

— Ку-шай-те, по-жа-лус-та!

Спит это тетка Бутеня и видит во снах, что в гостях во всем удовольствии сидит.

Перед теткой Бутеней пироги понаставлены: пирог с треской, пирог с палтусиной, пирог с шепталой, пирог с морошкой и всяческо друго печенье и варенье.

Столько наставлено, столько накладено, что и с натугой не съесть.

А хозяйка вьюном вьется круг тетки Бутени.

А тетка Бутеня рассказыват для наведки,— она здря слов не бросат,— как еённы две кумы из гостей домой голоднехоньки пришли, и какой это страм был хозяевам, у которых гостили. Одна кума на Юросе гостила, друга — в Кривом Бору. И быдто тетка Бутеня спрашивала у кумушек:

— Почто, желанны, невеселы, почто ноги не плетут, из гостей идучи, головушки не качаются, глазыньки

не светят и личики ваши не улыбчаты? Али нечем угошшаться было?

Одна кума и заговорила:

— Всего было много наготовлено и налажено, на стол наставлено. Только ешь. Да угошшали без упросу.

Другая кума таку ужимку сделала, так жалостливо заговорила — ажно слезу прошибло:

— Где я была, там тоже всего напасено — на стол принесено, ешь всей деревней,— на столе не убудет. И угошшали с упросом,— да чашку без золота подали. Я и есть и пить не стала.

Хозяйка завертелась, буди ее шилом ткнули, в кладовку сбегала, достала чашку бабкину всю золоту. Тетку Бутеню угошшат с великим упросом.

А тетка Бутеня от удовольствия даже икнула, а сама от стола малость отпятилась и ишшо рассказала:

— А третья моя кумушка в гостях была,— чаем-кофеем и всяким хорошим угошшали, а выпить и не показали.

Хозяйка подскочила, руками плеснула:

— Ах, да как это я! Да видно ли дело, чтобы в Малинином рассказе да без малиновой настойки!

Достала хозяйка посудину стеклянну, рюмки налила, тетке Бутене на подносе поднесла. И хозяйка и гостья заколыхались поклонами. Поклоны все мене и мене и с самым маленьким, с самым улыбчатым — рюмки ко рту поднесли — пригубить приладились.

Я зажигалку перевернул да и крикнул в само ухо тетке:

— Тетка Бутеня!

От тетки Бутени сон отскочил и с пированьем, и с чашкой золотой, и с рюмкой налитой.

Ты не гляди, что до меня было тридцать пять верст,— тетка Бутеня так меня отделала, что я сколько ден людям на глаза не показывался.

СНЕЖНЫ ВЕХИ

Простое дело — снег книзу уминать,— ногами топчи и все тут. Я вот кверху снег уминаю,— делаю это, ковды снег подходяшший, да ковды в крайность запонадобится.

Вот дали мне наряд дорогу вешить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо.

Ветра не было, снег валился степенно, раздумчиво, без спешности, как на поденшшине работал.

Я стал на место, куды веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на пятнадцать выстал столб. Я в сторону поддался, столб на месте остался.

Я на друго место — и там столб снежной головой намял. И каким часом (али минутошно более) я всю дорогу обвешил, столбы лопатой приравнял да два про запас припас.

Перед самой потеменью солнышко глянуло и так малиново-ярко осветило мои столбы-вехи.

Я сбоку да скоком водой плеснул, свет солнечно-малиновой в столбы и вмерзнул.

Уж ночь настала, темень пала, спать давным-давно пора, а народ все живет, все на свет малиновой любуется, по дороге мимо ярких вех себе погуливат.

Старухи набежали девок домой гнать:

— Подите, девки, домой, спать валитесь — утром рано разбудим! Не праздник всяко сегодня, не время для гулянки!

А как увидали старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись. А при малиновом сияньи все старухи, как маковы цветы, расцвели и таки ли приятственны сделались!

Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчаты и с гунушками да утушками поплыли по дороге.

Да ты знашь ли, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки бантиком, с маленькой улыбочкой.

К старухам старики пристали и песни завели, дак и песни звонче слышны, и песни зацвели.

А девки — все, как алы розаны!

Это по зимной-то дороге сад пошел. Цветики — красны маки да алы розаны. А песни, как широки огнисты ленты, тихими молньями полетели далеко вокруг, сами светят, звенят и летят-летят над лесами, над полями в самую дальну даль.

Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи уж не светят, — только сами светятся, с светлым днем не спорятся.

Время стало по домам иттить, за кажнодневну работу приматься. Все в черед стали, и всяк ко мне подходил с благодарением и поклон отвешивал с почтением и за работу мою и за свет солнечной, что я к ночи припас.

Девки да бабы в согласьи за руки взялись, вереницей до Уймы да по всей Уйме растянулись.

Вся дорога расцвела!

Проезжи мужики увидали, от удивленья да от умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и до полден так и стояли. После одели шапки набекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и — за нашими девками да за бабами вослед.

Мы им поучительной разговор сделали: на чужой каравай рта не разевай.

Проезжи разговор по-хорошему обернули:

— А ежели мы сватов зашлем?

Мы ответили:

— Девок не неволим, на сердце запрету не кладем. А худой жоних хорошему дорогу показыват.

В ту зиму сваты да сватьи к нам со всех сторон наезжали. Всякой деревне лестно было с Уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели — выбирали.

Нас с жоной на свадьбы первоочередно звали и самолутчими гостями величали.

Ну, ладно. В то-то перво утро, как все по домам да на работу разошлись, я запасны столбы к дому прикатил да по переду по углам и поставил прямь окон. С вечера, с сумерок и до утрешнего свету у нас во всем доме светлехонько, и по всей Уйме свет.

Прямо нашево дому народ на гулянку собирался, песни пели да пляски вели.

Так и говорили:

— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свету гулять!

Днем столбы не гасли, а светили про себя, как камни-самоцветы, а с вечера полным светом возьмутся.

У меня кажной день гости и вверху и внизу. И свои уемски и городски — наезжи. Моя жона перьвы дни с ног сбилась: стряпала, пекла, варила да жарила. Моя жона у нас на Уйме перьвой хозяйкой живет.

Слыхал, поди, стару говору: «Худа каша до порогу, хороша — до задворья», — а моя жона кашу сварит — до заполья идешь, из сыта не выпадешь!

Наши уемски народ совестливой: раза два мы их угошшали, а потом со своим стали приходить. Водки не пили, ругань бросили. Сидим по-хорошему, разговариваем, али песни поем. Случится молчать, то молчим ласково, с улыбкой.

Городски с собой всякой съедобности корзины привозили. Мы с жоной только самовары ставили.

Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторапливались. Кака хошь некрасива, во что хошь одета,— как малиновым светом осветит,— и с лица кажет распрекрасна и одежой разнарядна. Да так, что из-под ручки посмотреть. Из-за реки в гости звали, рукава обрывали!

Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хошь обнов — все мало».

В ту зиму одели-таки девок — малиновым светом! Матери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили. Наши девки нарядней всех низовских богатеек были.

РЕКА У́ЖЕ СТАЛА

В старо время наша река шире была. Против городу верст на полтораста с прибавком. Просторно было и для лодок, для карбасов, для купанья, ну, и для пароходов места хватало.

Оно все было ладно, да заречным жонкам далеко было с молоком в город ездить. Задумали жонки заречны тот берег к этому пододвинуть, к городу ближе, втемяшилась эта затея жонкам, мужики отговорить не могли.

Что ты думашь? Пододвинули! Дело известно: что бабы захотят, то и сделают.

Вот заречны жонки собрались с вечера. В потемках берег нашшупали, руками в берег уперлись, ногами от земли отталкиваются, кряхтят, шепотом дубинушки запели:

Мужикам мы уважим,
Давай, жонки, приналяжем,—
Эй, дубинушка, сама пойдет!

Берег-то и шевелился и заподвигался. Бабы не курят, на перекурошну сижанку время не тратят. Берег-то к самому городу дотолкали бы, да согласья бабьего ненадолго хватило. Перьво дело кажной жонке охота свою деревню ближе к городу поставить, ну, как тут не толкнуть соседку, котора свой бок вперед прет? Начали переругиваться по-тихому, а как руганью подхлестнулись, и голосу прибавили.

Из Лисестрова тетка Задира задом крутанула да в заостровскую тетку Расшиву стуконула. Обе разом во весь голос ругальной крик подняли. А другим-то как отстать?

И лисестровски, глуховски, заостровски, ладански, кегостровски, глинниковски, и ближнодеревенски, и дальнодеревенски в ругань вступились. Друг дружку стельными коровами обозвали. Ругань — руганью, да и толкотня в ход пошла!

Ведь у всех жонок под одеждой полагушки с молоком, простокваша в крынках двурушными корзинами, а под фартуками туеса с пареной брюквой. Заречны жонки все до одной с готовым товаром собрались. Думали берег дотолкнуть, да в рынок кажна хотела первой скочить и торговать.

Жонки руганью да потасовкой занялись и берег сдвигать с места бросили. Над рекой от ругани визг переполошной, да от полагушек брякоток столь громкой, что спяшшие в городу проснулись. А приезжие громко сдивовались:

— Совсем особенны и музыка и пенье. Слыхать, что поют ото всего сердца и со всем усердием!

Приезжие особенны записаны граммофоны наставили и визжачу ругань и полагушечной стукоток на запись взяли.

Как ободнело, осветило, городски жители долго глаза протирали, долго глазам не верили, друг дружке говорили:

— Гляньте-ко, что оно такое? Река у́же стала! Завсегды река была полтораста верст, а тут до того берега и всего три версты, а мало где пять. Кто дозволил тот берег чуть не под нос городу поставить?

Ближе всех к городу кегостровски неуемны выперлись.

Пока жонки толкались да дрались, все полагушки опрокинули, молоко пролили. Молоко над рекой рекой текет. Простокваша со сметаной в крынках у берега плешшется. В тот день городски жители молока нахлебались задарма, в кого сколько влезло. Водовозы в бочках молоко по домам развозили заместо воды. Молоко — рекой над рекой — и в море, все море взбелело. С той поры и по сю пору наше море Белым и прозыватся.

Начальство хотело тот берег обратно поставить за полтораста верст, да приспособиться не смогло. Руками

в берег упереться можно, а ногами от воды не много оттолкнешься. Меня не спросили как. А сам я называться не стал.

Тешшина деревня ближе стала, мне и ладно.

АПЕЛЬСИН

Дак вот на прежной ширине реки ехал я вечером на маленьком пароходишке. Река спокойнехонька, воду прогладила, с небом в гляделки играт — кто кого переглядит. И я на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чишшу и делаю это дело мимодумно.

Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При солнешной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсиновому месту поглядеть, что мой апельсин делат?

Апельсин в рост пошел: знат, что мне надо скоро,— растет-торопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над водой размахался большим зеленым деревом и в цвет пустился.

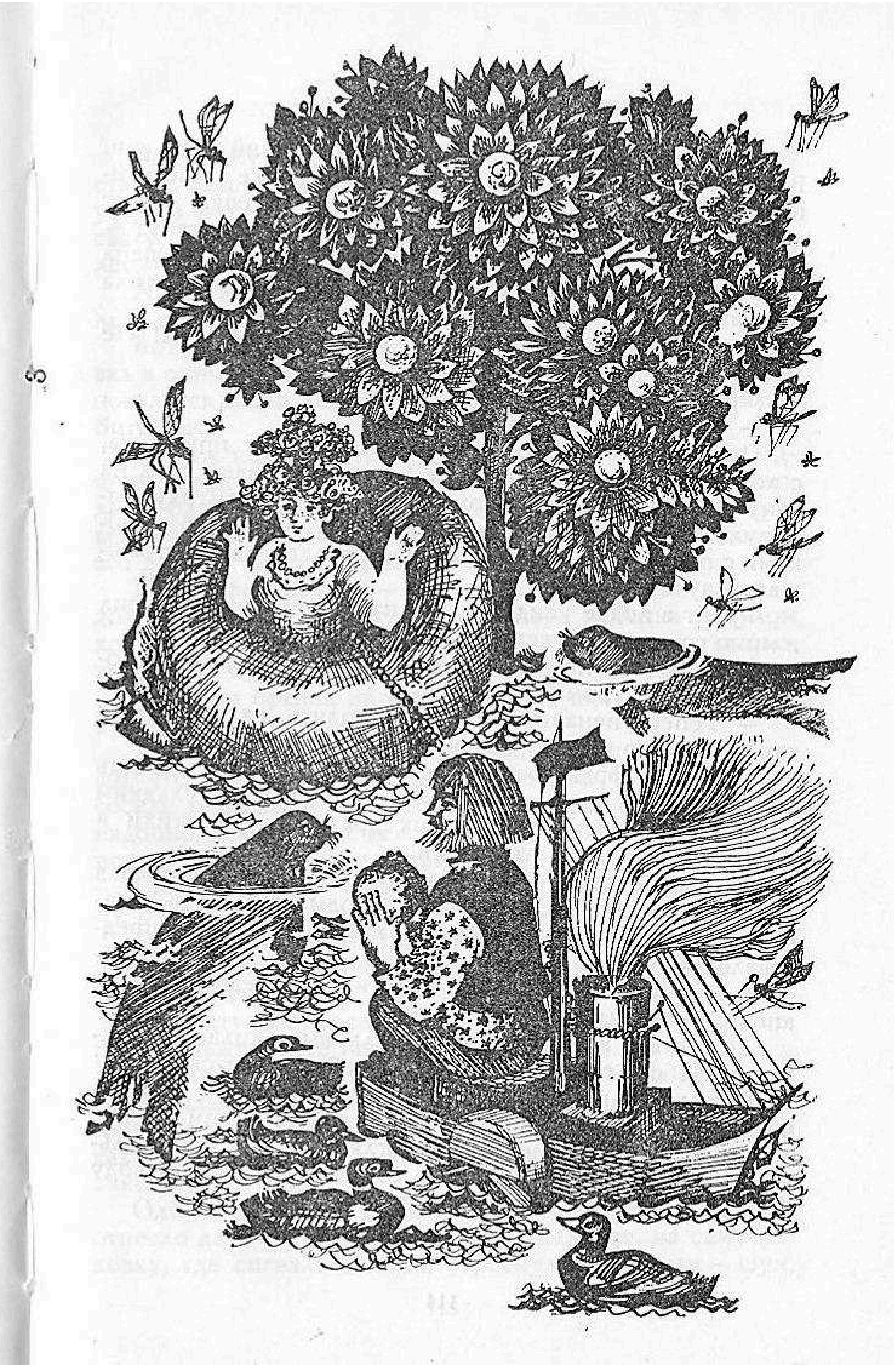
И така ли эта была распрекрасность, как кругом — вода, одна вода, сверху — небо, посередке — апельсиново дерево цветет!

Наш край летом богат светом. Солнце круглосуточно. Апельсины незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листах — как фонарики золоты поблескивают.

Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь.

Много городских подъезжало, вокруг кружили, только все безо всякого толку.

Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку скочил, карбасов штук пятнадцать с собой прихватил, к апельсиновому дереву подъехал. Меня волнами подкидыват, а я апельсины рву. Пятнадцать карбасов нагрузил с большими верхами, и лодка полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была.



ФРАНТ И ФРАНТИХА

Меня раздумье берет, как достать остатний апельсин. В праздник, в тиху погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева, тоже в лодочке, франт да франтиха крутятся. Франт весь обтянут-перетянут — тонюсенькой, как былиночка. А франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват:

— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина!

Франт отвечат:

— Для вас, апельсин? Я-с сейчас!

Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал на самую корму. Лодка носом выскочила — франтиху выкинуло. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настояшша пловуча животна!

Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез.

Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит:

— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом гулять на особицу!

Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляюшших дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали.

Народ, которой безработной был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представление.

К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин сорвал.

Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любуется.

Я стал апельсин чистить без тороплывости, с раздумчивостью. Это я под стать реке того часа тихим стал.

Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.

ЧТОБЫ ВСЕГО СЕБЯ НЕ РАЗБУДИТЬ

Вот скажу тебе, гость разлюбезной, как я дом-от этот ставил. Нарубил это я лесу на дом, а руки размахались, устатка нет,— стал рубить соседу на избу, да брату, да свату, да куму с кумой, да своим, да присвоим. Нарубил лес,— вишь, дом слажен, что нать.

А как домой лес достать? Лошади худы. И эстолько лесу возить время много нать.

Вот я уклал лес по дороге до самой деревни, укладывал в один ряд концом на конец. Подождал, ковды спать повалятся наши деревенски, чтобы как грехом не зашибить кого.

Вот уж ночь, все угомонились. Я топором по последнему бревну стуконул что было силы! Бревно выгалило, да не одно, а все на попа стали. На попа стали да перевернулись и сызнова на попа, да впереверт, и так до моего дому. У дома склались кучей высоченной.

Посмотрел кругом — все спят. По времени знаю — долго ишшо не заживут. А моя стара избенка ходуном ходит,— это жона моя храп проделыват. Хотел поколотиться, да будить боязно, как бы чем не огрела.

Залез на бревна на верёх и спать повалился. Заспал крепко-накрепко с устатку.

Утресь просыпаться почал,— жить уж пора. Да хорошо, что проснулся не разом, а вполсна. Смотрю, а мои соседи да родня лес из-под меня раскатали, кому сколько надобно, а я в высях лежу на крепком сне, как на подпорке, да носом песни высвистываю!

Скорей рукой один глаз прихватил да половину рта.

Одной половиной сплю-тороплюсь, а другой в соображение пришел и вполголоса, чтобы всего себя не разбудить, кричу вниз:

— Сватушки, соседушки! Тащите лесницу да веревки,— выручайте тако спанье перводельное!

Приладился на снах крепких спать. Коли где в высях засплю и жить время придет, то я только норовлю легонько просыпаться. Как попроснусь, так и опушшусь, а как совсем глаза открою,— я уж на земле али на крыше какой.

Одинова я заспал так в высях, а меня ветром в город отнесло да и спустило на пожарну каланчу, на саму маковку, где сигналам место. Проснулся, а внизу — шум,

тревога, народ всполошился. Ишшут: где горит? Это меня за сигнал приняли.

Даже не били — домой отпустили. Только полицейский штрафу рупь содрал за спанье в неуказанном месте.

В ОДНО ВРЕМЯ В ДВУХ ГОСТЯХ ГОШШУ

Всяка пора быват: в другу пору никто не дергат, никуды не зовут, дома сижу и сам с собой разговор веду: спорю редко, больше по согласью расспрашиваю да себя слушаю. С хорошим человеком хорошо поговорить.

Ты думашь, я только и умею сам с собой говорить? Нет, я умею разом в разны стороны ходить. Быват так, что здеся неловко, а то в работу запрягают, в каку не хочу,— я даюсь, на место становлюсь, а сам надвое, да так, что и здеся и в сторону на хороший разговор, а то просто в спанье. Только спать не во всю ширину разворачиваюсь,— половина-то меня в работе али в перепалке какой, а друга половина спит.

В другу пору почётить начнут, меня и жону в гости звать станут. Особливо в праздники разом в разны стороны зовут, приглашают. Да не то что зовут да быть не велят, а с упросом, с уговором, с принукой за руки тянут.

Иных зовут:

— Милости просим мимо наших ворот с песнями!

Мы с жоной экого званья не слыхивали, на все с поклоном:

— Садитесь — прижмитесь, хвастайте — языком хрястайте!

Ну, вот, в гости зовут, да из разных деревень. Жона хочет в одну, где чаем поить будут, а мне охота в другу, где пивом угошшать станут. Хошь разорвись.

С жоной спорить не стал, а попросту я разорвался, да так, что весь я здесь с жоной, и весь я в другу деревню к пиву тороплюсь.

Пришел туды,— а там пиво наварено, вино напасено. Пришел с жоной сюды,— тут самовар кипит.

Я обеими половинами слышу и вижу и для проверки языком ворочаю. Жона оборотилась ко мне со словами:

— Что, муж, городишь без толку?

А как толком говорить, коли я тут и там здороваюсь? Тут с хозяевами об руку, а с остальными гостями да гостьями поклоном не всех поименно, а всех вообще. Опосля хозяев здешних я об руку там здоровался с хозяевами да с разлюбезными приятелями.

Потчевать стали, ну, я отказываюсь: тут — от чаю, там — от пива-вина. Так, для прилику, с час поотказывался. Потом здеся стакан взял, стал ложкой болтать, а там хлопнул пива стакан, водки стакан да вина стакан. Про чай здешной и позабыл. Здешна хозяйка и спрашиват:

— Кум Малина, что ты ложкой болташь, а сахару не кладешь, чаю не пьешь?

А у меня рот выпивкой занят, мне не до чаю, я и объяснение даю:

— Коли эдак семьдесят пять разов болтонуть, то чай сладкой станет и без сахару. Только болтать не считать: коли боле али мене семидесяти пяти разов — сладости не будет.

Вот все взялись здесь ложками болтать, только звон пошел. А я туды, там к куме Капустихе и присел. Капустиха — баба ладна, крепка, как брюква. Все чередом пошло. Здеся чай пью с прохладкой, разговор веду молчанкой. А там я язык распустил, словами сыплю, за своими словами, своими мыслями сам едва поспеваю, над столом разговорны узоры развесил. А мне чарки — то хозяин-кум, то хозяйка-кума, то сват-сосед, то кума Капустиха подносят. Я на ножки стал, поклон отвесил да от всех за всех и выпил. Это и здесь к разу пришлось: от здешной хозяйки чаю стакан горячего принял,— холодной за окошко выплеснул. Моя баба ко мне с улыбчатыми словами:

— Ах, муженек, сколь ты сегодня расхорошой, и с чаю у тебя глаза заблестели, засмеялись!

Я на жонино слово уши развесил да оттудова сюды одну загогулину словесну и перекинул! Там-то с пивом да с водкой загогулина под раз была. А тут хозяйка да гости успели чаем обжегчись; ну, мужикам, хоша и тверезым, конфуз не нужон,— мужики хохотом грохнули:

— Ну-ко, ишшо, Малина! Молчал-молчал да сказанул!

Там по новому стакану обносят, там пью, там куму Капустиху прихватил и в пляс пошел, а здеся все застолье ходуном пошло.

От пляски меня скружило, и я заместо Капустихи свою бабу обнял. Баба моя закраснелась, как в перву встречу, и говорит:

— И... что ты, ведь я-то, чай, тебе жона!

Я отсюда — туды, к Капустихе: там пляшу, здеся пот утираю.

От тихого сиденья, от пляса, от молчанья да от веселого разговору, от чаю да от хмельного меня закружило. Позабывать стал, которо здесь, которо там. Там тверезым показался,— все пьяны сдивились, мне кричат:

— И силен же ты, Малина, на хмельно! Гляньте-ко, бабы, девки, на Малину: выпил в нашу меру, а с виду нисколь не приметно.

Сюды пьяным обернулся, тут гогочут:

— Ну, и приставлюн, ну и притворшшик, Малина! С нами чай пил, а сидит, как пьяной!

Кума, хозяина здешнего, по уму ударило, он мне тихим шепотом:

— Дай-косе и мне развеселья выпить.

Как кума не уважить? Я оттуда сюды стакан за стаканом — да в кума, да в кума. Кум мой мало несет головой и вскорости на четвереньках по избе пошел.

Я там с Капустихой парой в кадрели скачем. Сюда присаживаюсь для разгону жониного сумленья. От деревни до деревни, где я гостил, пять верст, ежели без обходов. Я и мечусь, устал, а от тамошней гостьбы отстать жалко, а от здешной никак нельзя, потому тут баба моя.

Там пляшу, оттуда куму пиво ношу,— мы с кумом уж и распьянехоньки, языками лыко вяжем.

Наши бабы хиханьки в сторону бросили и за нас взялись вместях со всеми гостьями и — ну нас отругивать.

Мы с кумом плетеным лыком, что язык наплели, от бабьей ругани, как от оводов, отмахивалися. Бабы не отстают, орут одно:

— Давайте и нам пива! Ишшо како заведенье заводят: сами напились, а нам и пригубить не дали!

*

Мы с кумом ногами пьяны, руками пьяны, языком поворачивам через большую силу, а головами понимам,— в головах-то все в разны стороны идет, а то, что нам сейчас надобно, то посередке разуменья держим. Бабам объяснение сказали:

— Бабы, мы того — двистительно — как есть. Только это не от выпивки, а от чайного питья. Мы — как, значит, с вами сидели, с вами чай пили,— окошки были полы. В той-то деревне пиво варили, вино пили, ветер все это

сюда нес. Нас пьяным ветром и надуло и развезло. Да вам же, бабам, ладней, ковды мужики веселы.

Бабам выпить охота, они и тараторят:

— Выдумшшики вы, и кум и Малина. Плетете-плетете всяку несусветность. Мы пива наварим да дух по деревням пустим, ваши слова испытам.

Так ведь и сделали. Обчественно пиво наварили, по соседним деревням с приглашеньем пошли:

— Покорно просим нашего пива испить, к нам не ходя, дома сидя. Только окошки отворите да рот откройте. Нашего пива ждите, коли ветер будет в вашу деревню.

Время к вечеру, ветер подходяшший дунул. Бабы посудины с пивом прямь ветру поставили, пива попробовали, нас покликали угошшаться.

Я не утерпел, здеся выпил да разорвался надвое: один я весь здесь, а другой тоже весь наскоро по деревням побежал. Наша деревня трезвей всех — у нас пьян, кто пьет, а там, кто не хочет и рот зажимат, только носом свистит,— и тот пьян.

Из соседней деревни сигналы подают, мужики шапками машут, бабы подолами трясут, чтобы больше пивного пьяного духу по ветру слали. Выискались горлопаны, крик до нашей деревни кинули:

— Хорошо в гостях, дома лутче! А того лутче дома гостем сидеть. За угошшенье благодарим, и напередки ваши гости дома сидя!

Ветер свое дело делат, по деревням окресь пьяной дух гонит. Деревни-то кругом распьяны, с песнями — хороводами взялись.

А в лесу, а в поле что творится!

Поехали из городу охотники,— ветром пьяным на охотников пахнуло, а у городских головы слабы, их разморило. Увидали охотники пьяно зверье, хотели стрелить, да позабыли, которой конец стрелят. Ну, охотники взяли зверье за лапы и ведут в деревню к нам. А сами охотники с ног валятся. Зверье — медведи, да волки, да пара лисиц — на ногах крепче, они от хмелю злость потеряли, веселы стали. Звери охотников — за руки да за ноги, да волоком до деревни, тут с лап на лапы нашим пьяным собакам и сдали.

Охотники хвалятся:

— Гляньте, сколь мы храбры, сколь мы ловки. Живых медведей, волков и пару лисиц в деревню пригнали!

Нам пьяной ветер много разов службу сослужил.

Как каки разбойники, грабители на нашу деревню нацелятся — к примеру: чиновники, попы, полицейски, — мы навстречу им пьяной ветер пустим, а пьяных обратно в город спроваживам.

БЕЛЫ МЕДВЕДИ

Вот теперича на Нову Землю ездить стало нипочем. А в старо время, ковды мы, промышленники, туды дорогу протаптывали, своими боками берега обминали, — солоно товды доставалось.

К примеру скажу, как я впервой попал на Нову Землю и как белы медведи меня ловили, а я их поймал.

Пришел это пароход к Новой Земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули! От берега далеко остановились, места для проходу не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит:

— Нет расчета в опасно место соваться, к берегу подходить, швырнем на веревке.

Меня веревкой обвязали, размахали да и кинули на берег. Посвистели, дымом, как хвостом, накрылись и ушли.

Остался я один на пустом месте. Кругом голо место и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество. Я веревку за камень прихватил, а другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить.

Выставил дом уж высоко, только окон да дверей не прорубил, — топора не было, да крышей покрыть не успел.

Место, в которое меня выкинули с парохода, — медвежье было, проходно для медведей, вроде как медвежой постоялой двор. Белой медведь высмотрел меня, и ко мне — со всех ног. А мне куды девать себя? Место голо, в дом без дверей да без окошок не вскочишь. Я привязался к концу веревки да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что силы есть, ухлестыват. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня и вынесло на натянутой веревке и понесло кругами.

А медведь по земле лапы оттоптыват. А я ногу на ногу, цигарку закурил, дым пустил да медведя криком

подгоняю. Мне что, меня выносом носит, и я устали не знаю, сижу себе да кручусь!

Медведь из силы выбился и упал, ему дыханье сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост и в дом бескрышной закинул.

Гляжу — опять медведь. Я и этого таким же ходом прокрутил до уморенья и в дом закинул. А медведи один за одним идут и идут. Мне дело стало привычно, я и ловлю.

К осеннему пароходу наловил медведей ровно сто.

Чиновник счет-расчет произвел, высчитал с меня и за землю, и за воду, и за сто медведей белых мне один пятак дал.

Пятак дал да две копейки с грошом отобрал на построение кабака и говорит:

— Понимай, как мы о вас, мужиках, заботу имеем. Здесь на пустом месте кабак поставим да попа со звоном посадим. Это ковды денег с вас наберем.

*

Я знал, что чиновники слушают, только ковды им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал, на наживу обзарился, веревкой обвязался и — бегом кругом камня. Я его словом подгоняю:

— Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро и медведь за тобой побежит!

Медвежья пора прошла в этом месте, в это время медведи не ходят.

Чиновник подскочил, натянута веревка его высоко вызняла, а заместо медведя наскочил ветришшо да с грозишшой. Я только малость веревку надрезал, — как рванет чиновника! Веревка треснула. Чиновника унесло. Над морем пронесло — и в Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города с неба кинуло!

Норвежены — в страх.

— Андели! Что такое? — кричат. — Не иначе, как небесной житель из раю!

Поп норвежской в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. А прочий народ дожидат дозволенья прикладываться к небожителю.

Чиновник очухался, огляделся да как заорет и на попа и на всех норвеженов. Норвежены слов не поняли,

а догадались, о чем чиновник кричал. Попу и говорят:

— Коли эки жители в раю, то мы в рай не хотим.

Норвежской полицейской просмотрел гостя, услыхал винной запах, светлы пуговицы да всяки знаки увидал. Признал в небожителе чиновника и говорит:

— Этот нам нужон: чиновники для нас, полицейских, перьвы помощники народ в страхе держать да доходы собирать.

Поп норвежской свое гнет:

— Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого. В нашем деле поповском чиновник нужней, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход заимеем. А что народ говорит, что он в рай не хочет, дак мы не спросим и под конвоем в рай отправим. Раньше в рай-то каленым железом загоняли, и то народ терпел.

Чиновника унесло — мне легше стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей: вода не заливат. Медведей всех сто запряг и поехал на медведях по морю. Скорей всех пароходов. Да что пароходы! Им надо дорогу выбирать, а я и по воде и посуху на медведях качу. Под дом полозье из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самой, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой, убедись, что настояшшой дом из заправдашного дерева, тронь — и будешь знать, что я все правду говорю.

А медведи — ходуны, им все ходу да ходу дай. Запрег медведей и поехал по разным городам. За показ деньги брал да живьем продавал. Одного медведя купили для отсылу в Норвегу, сказывали, что святой чиновник заказывал. Пожалел я норвеженов, что все ишшо со святым возятся, да подумал:

— Натерпятся — сами за ум возьмутся!

ЗЕЛЕНА БАНЯ

Занадобилась мне нова баня, у старой зад выпал да пол провалился. За сосновым али еловым лесом ехать далеко. А тут у нас наотмашь, за деревней, на сыром месте ивы росли,— я их и срубил, четыре столба сваями под углы вбил, поставил баню всю ивову. Да в свежу нову мыться пошел. Баню жарко натопил.

Вот моюсь да окачиваюсь, моюсь да окачиваюсь, а про веник позабыл.

— Охти мнеченьки, как же париться без веника!

Отворил дверь из бани, глянул,— а я высоко над деревней.

Умом раскинул и в разуменье пришел: ивовы столбы от теплой банной воды проросли да и выросли деревами и вызняли меня в поднебесну, да и вся баня зеленью взялась. Я от стен да от дверных косяков ивовых веток свежих наломал, веник связал. И так это я в полну меру напарился!

Из бани вышел — жона догадалась лесенку приставить.

А банной пар из бани тучей выпер, поостыл да дожжиком теплым и пал.

Это дело я в уме стал держать.

Вот стало время жарко-прежарко, а без дождя. Хлеба да сенá почали гореть.

Вижу — поп Сиволдай с конца деревни обход начинат, кадилом машет и вопит во всю глотку:

— Жертвуйте мне больше, я вам дождь вымолю!

Я забежал с другого конца деревни и тоже заорал, да свое:

— Не давайте Сиволдаю ни копейки, ни гроша! Я вам дождь через баню достану, приходите, кому париться охота!

Баня натоплена самосильно. Старики да старухи у банной лесенки стабунились, дожидают мово приказу в баню карабкаться. Я велел им стать чередом да парами и здыматься по две пары.

Старики да старушонки скинули одежонки и стоят, милые, нагишом, только вехотки в руках заместо всей одежи.

А я парю-хвошшу да пары поддаю! Старье только покряхтыват.

Как отпарю две пары — на веревке вниз спушшу. Двери банны настежь отворю — пар стариковской тучей толстой выпрет. А родня стариков, что парились,— подхватят тучу вилами да граблями и волокут на свое поле. Там туча поостынет и дождем теплым падет.

Столько в тот год у нас наросло, такой урожай был, что сами были сыты и всю округу прокормили.

*

Поп Сиволдай большу сердитость на меня заимел, в город побежал, начальству жалился на меня да баней зеленой хвастался.

— Вот у нас в Уйме кака нова баня! Растет, зеленеет и тень дает. В бане паримся, а около в тени прохлаждаемся!

Начальству захотелось в экой бани париться. К нам послали полицейских, дьячков да мелких чиновников. Всяко начальство — своих: у кого кто под рукой. Набежали полицейские, дьячки, мелки чиновники, стали баню топить. Моего согласья не спрашивали.

Я дело задумал и для виду оченно согласен баню топить и говорю хлопотунам:

— Для ваших начальников поповских, полицейских, чиновничьих надобно баню самолутче натопить да наладить пар подходяшшой, а здоровей пивного нет пару никакого.

Приташшил я лётного пива, цельной бочонок не пожалел. Лётным пивом пару наподдавали. Начальство наехало, в баню париться вызнялось. С банных стен все ветки обломали на веники.

Я дверь припер покрепче, столбы, на которых баня высилась-росла, подпилил. Лётно пиво баню надуло, сделало баню летательной.

Баня крутанулась, с места сорвалась, понеслась — фыркнула, только ветер сделала! Моряки сказывали, что в море баню кинуло.

Нам все одно куды, лишь бы от нас подальше да другим хорошим людям не на помеху.

САМОВАРА СЕМЬЯ

Чайны чашки ручки в бок изогнули, на блюдечках подскакивают, донышками побрякивают и поют:

Папа скоро закипит,
Папа скоро закипит!

Чайник, старший из самоваровых робят, пошел по столу чаем засыпаться и широким боком нос отбил молочнику. Молочник заплакал, молоко пролилось.

Самовар закипел, пар пустил, песней забурлил, конфорку одел, ручки растопырил и на стол стал.

Чайник к папе подбежал, чай заварил, на конфорку скочил, крышкой прихлопыват, папе подпеват.

Пошел чайник чай разливать, а сахарница на пути подвернулась и чайнику рыло отбила.

Когда молочнику нос отбили, так как так и надо, только в сторону отодвинули, а как чайнику рыльце разбили — все в беспокойство пришли. Чайнику сделали рыльце новое — серебряное, по пути и молочнику сделали серебряный нос.

Чай отпили. Самовар кланяться стал, задние ножки приподымат, конфоркой киват, этим показыват:

В другой раз гостите,
Чай пить приходите!

Чайны чашки вымылись, вытерлись, в буфете на блюдечках спать повалились. Чайник вытрясся, намылся и тоже в буфет спать пошел. А молочник на холод вынесли, чтобы не скис. Молочник обиделся, хотел было уйти в кофейну семью, да вспомнил, что кофейник высоко нос задират и чашки кофейны маленькой разговор кофейной заводят на час, а чайной разговор заведут с утра до вечера,— остался в своей семье.

Раз тетка Бутеня в гости пришла. Чай-то уж допивали, самовар поклоны отвешивал, задни ножки подымал, конфоркой кланялся, за компанию благодарил.

Тетку Бутеню зовут за стол садиться, чаю напиться, горячим согреться.

Бутеня чай пьет помногу, пьет подолгу. Самовару хлопотно, надо доливаться, надо догреваться, и не одинажды. Тетка и к столу не подходит и с обидой говорит:

— Благодарю за приглашение, благодарю за угошшение. Из пустого самовара не напьешься, у холодного самовара не согреешься.

Самовар со стола скочил, водой долился, подогрелся.

Самовар закипел, на стол сел, недолго пел — опустел и опять долился. А тут новой гость — поп Сиволдай. Самовар опять долился, подогрелся, а не хочет для попа песни петь, не хочет громко кипеть. Жару много в самоваре, вода кипит, вода клокочет, разорвать его хочет. Самовар зажмурился, пару не показыват. Попу Сиволдаю налили чаю в большую чашку. Поп думат, самовар-то холодный, взял чашку, рот открыл во всю ширину и чохнул в себя всю чашку разом.

Так ожегся, что ни кричать, ни мычать не может, рот не закрыват, руками размахиват и — бегом из дому.

Потом мы узнали: поп Сиволдай двадцать верст пробежался, отдышался, в других гостях едой вылечился. Попы живучи были.

На радостях, что от попа избавились, чайны чашки на блюдечках приплясывали, чайник по столу кругом пошел, чай разливал, молочник с чайником в паре молоко подливал.

Самовар в тот раз долго кипел, новые песни свистел.

БАБЫ РАЗГОВАРИВАЮТ

До чего бабы за разговором время теряют! Теперь-то всяка делом занята, дело подгонят, а в прежню пору у них времени для пустого разговору много было. Разговор начинали чинно, медленными словами, а как разгонятся,— ну, и затараторят, от слов брякоток пойдет бывало.

Перед моей избой столкнулись попадья Сиволдаиха и модница из городу. Им бы идти куда ни на есть,— ну, к той же попадье, да там за самоваром и говорили бы, сколько хотели. Но обе, вишь ты, торопились. Остановились на два слова, начали чинно, и обе в один голос и как одно длинно слово протянули:

— Здравствуйте-как-поживаете-благодарю - вас - ничего!

И всякое другое для разминания языка.

Вскорости заговорили громче, громче и затрешшали, будто зайцев загоняют.

Я час терпел, думаю умом: наговорятся, разойдутся. Второй час прошел. Я ничего делать не могу, в ушах шум, гул. Повязал голову жониной кофтой ватерованной, закутал фартуком.

А под окном громче заговорили, в спор вошли, на крик перешли.

Я на чердак вылез с ушатом воды и из чердашного окошка стал водой поливать.

Бабы зонтик растопырили и еще громче заголосили. Хватил я лопату — да песком, что на чердаке над потолком был. Лопатой сгреб — да в окошко, да на Сиволдаиху и на городску модницу! Сыпал, сыпал! Слышу — стихло: ушли, значит.

Я умаялся, прилег отдохнуть. И только разоспался по-хорошему — слышу шум-звон. Что тако?

А это поп Сиволдай в колокол звонит, попадью ищет. Из города прибежали — модницу ишшут. Ко мне урядник колотится, ругается, велит кучу песку с улицы убрать.

Глянул я на улицу, а перед домом моим поперек улицы на самой дороге большая куча песку.

— Мне како дело до улицы? Кабы во дворе, я убрал бы, а тут место обчественно, пусть обчеством и убирают!

Куча-то проезду мешала. Стали песок разгребать, дорогу очишшать. Я со всеми тоже работал. Песок разрыли, а там под зонтиком Сиволдаиха с модницей одна другой в космы вцепились, ревмя ревут, криком кричат. У них спор вышел о новом модном наряде: куда бант прицепить, спереди али сзади?

Это дело тако важно, что бабы со всей Уймы в спор вступились, проезжаюшши городски тоже прицепились.

Полторы сутки спорили, кричали, нас обедом не кормили, чаем не поили.

Полицейско начальство глупому делу не мешало. Мы уж своей волей вольнопожарной командой в баб воду пустили — и то едва по домам разогнали!

МОДНИЦА

Приходит в магазин модница. Вся гнется, ковыляется — нарядну походку выделыват. Руки раскинула, пальчики растопырила.

Говорить почала, и голосок тоже вывертыват, то скрозь нос, то скрозь зубы, то голос как на каблуки вздынет.

Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговариват, по-русскому только понимат и то не в большу силу, и вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачиват, а ежели ругаться хватится, так всяко носово и горлово придыханье в сторону кинет и своим настояшшим голосом как в барабан ударит! Кого хошь переругат, да не то что одного — весь рынок переругивала!

Так вот пришла модница, фасонность и ногами, и руками, и всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завыговаривала:

— Ах, ах, ах! Надобно мне-ка материи на платье! И самой модной-размодной! Чтобы ни у кого не было

модней мого! Чтобы была сама распоследня мода!

Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос да с завыванием залопотал под стать моднице:

— Да-с, у нас для вас есть ваккурат то, что вам желательно-с!

Дернул приказчик с верхной полки кусок материи, весь пыльной, о прилавок шлепнул — пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю, моднице опомниться не дает:

— Вот-с, как раз для вас, пожалте-с, сорт особенной поолкоо-тьерс!

Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула, на материю и прямо, и сбоку поглядела, руками пощшупала, ей и не очень нравится, а коли модная материя, то что будешь делать?

— А отчего эки пятна на материи?

— Это цвет ле-жаа-нтьин-с! К вашей личности особенно очень подходяший. Извольте примерить, к себе приставить. Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло!

Модница очень довольна, что сыскала особенну модну материю.

— А кака отделка к этому поол-коо-тьеру цвета лежаантьин?

Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которым пыль вытирали. Голос выгнул так, что и сам поверил своему уменью говорить на иностранный манер.

— Для этой материи и только для вас, другим и не показывам, вот-с, извольте-с, отделка-с, проо-ваас-дуу-р!

И что бы вы думали?

Купила-таки модница материю полкотер, цвета лежантин, с отделкой про вас, дур...

ПОДРУЖЕНЬКИ

Как звать подруженек, сказывать не стану, изобидятся, мне выговаривать почнут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются.

Обе подруженьки страсть как любили чай пить. Это для них разлюбезно дело. Пили чай всегда вместе и вся-ка по-своему. На стол два самовара подымали. Одной

надо, чтобы самовар все время кипел-разговаривал.

— Терпеть не могу из молчашшого самовара чай пить, буди с сердитым сидеть!

Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет:

— Перекипела вода, вкус терят, с аппетиту сбиват!

Обе голубушки, с полного согласия, в кипяшшой самовар мелкого сахару в трубу сыпали. Это для приятного запаху. Оно и угарно, да не очень.

Чай пили — одна вприкуску, друга внакладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком: хошь маленькой, хошь с одной стороны, а чтобы был цветочек. «Коли есть цветочек, я буди в саду сижу!»

Другой надо чашечку с золотом: пусть и не вся золота, пусть только ободочек, один крайчик позолочен,— значит, чашечка нарядна!

Одна пила с блюдечка: на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркиват, да так тонкозвучно, буди птичка поет.

Друга чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживат над блюдечком и чаем булькат.

Пьют в полном молчании, от удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся.

Самовары ведерны. По самовару выпили, долили, снова пить сели. Теперь с разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верны, самы верны: что во сне видели, то всамделишно было.

Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила:

— Иду это я во сне. И така я вся нарядна, така нарядна, что от меня буди свет идет! Мне даже совестно, что нарядне меня нет никого. Дошла до речки — через речку мостик. Народом мостик полон,— кто сюда, кто туда. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность: кто шел сюда, кто шел туда — все приостановились, с проходу отодвинулись, мне дорогу уступили.

Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слова громоотводны: «Извините, пожалуйста, что я своим переходом по мостику нашему ходу помешала, остановку сделала». Все лица разгладились, улыбками засветились. Ясный день светле стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду — на свою нарядность полюбоваться,— рыбы увидали меня, от удивленья рты растворили, плыть остановились, на меня

5 Заказ 1452

смотрят-любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полный рыбы и с поклоном в знак благодаренья за оказанно уваженье отдала народу по эту сторону мостика. Ишшо зачерпнула рыбы полный фартук и отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз — домой принесла.

Кушайте пирог с той самой рыбкой, котору во сне видела. Вот какой у меня верной сон!..

Друга подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела и про свой сон рассказ повела:

— Видела я себя такой воздушной, такой воздушной! Иду по лугу цветушшему, подо мной травки не приминаются, цветочки не наклоняются. Я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливат, золотом от солнца отсвечиват. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелка и весь цветами расшит.

И сидит в той лодочке твой муженек, ручкой мне помахиват, зовет гулять с ним в лодочке...

Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца.

Перва подруженька подскочила, буди ее подкинуло! Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосову силу крик подняла:

— Да как он смел чужой жоне во снах сниться! Дома спит, буди и весь тут! А сам в ту же пору к чужой жоне в лодочке подъезжат! Да и ты хороша! Да как ты смешь чужого мужа в свой сон пушшать! Я в город пойду, все управы обойду, добьюсь приказу, строгого указу: чтобы не смели мужья к чужим жонам во сны ходить!

КАК КУПЧИХА ПОСТНИЧАЛА

Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто умиленье!

Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины есть, и ест и ест блины: и со сметаной, и с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой.

И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест.

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.



Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чай-то нельзя, потому — пост.

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постил, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась из всех сил — она и чаю не пила и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела же сахар особенный — постный, вроде конфет.

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек, да с постным сахаром пять, да с малиновым соком пять чашек, да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой,— нет, с соком, и заедала черными сухариками.

Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжичков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым.

Взамен чаю стала сбитень пить паточной.

Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед весь постный-постный! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова похлебка. На второе: грузди жарены, брюква печеная, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других разных каш с разным вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом.

От маковников отказалась:

— Нет, нет, маковников есть не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой в роту не было.

После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой попила.

А время идет да идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой да с пастилой и паужне черед пришел.

Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!

Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то эдакого поста не выдержать — лопнет.

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками. Трудится — постничат.

Вот и ужну подали.

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек — лешшика фунтов на девять.

Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лешш, глянула в другой, а там лешш! Глянула к двери — и там лешш! Из-под кровати лешши, кругом лешши! И хвостами помахивают.

Со страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе.

Пришел доктор, просмотрел и сказал:

— Первой раз вижу, что до белой горячки объелась.

Дело-то понятно: доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают.

СОБАКА РОЗКА

Моя собака Розка со мной на охоту ходила-ходила да и научилась сама одна охотиться, особливо за зайцами.

Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу, да деревней, да к реке, а тут шшука привелась. Заяц от Розкиной гонки недосмотрел, что шшукина пасть разинута,— думал, в како хорошо место спрячется,— в пасть шшуки и прыгнул. Розка за зайцем в шшукино пузо скочила и давай гонять зайца по шшучьему нутру. Догнала-таки!

Розка у шшуки бок прогрызла, выбежала, зайца мне принесла.

Со шшукой у нас было много хлопот. Дом-то мой, видишь, задне всех стоит. Шшуку мы всей семьей да всей родней домой добывали.

Ташшили, кряхтели, пыхтели. Приташшили. Голова на дворе, хвост в воде. Вот кака была рыбина!

Мы три зимы шшуку ели. Я в городу пять бочек соленой шшуки продал.

Вот — пирог на столе. Думашь, с треской? Нет, это шшука. Розкина лова, только малость лишку просолилась. Да это ничего, поешь, обсолонись,— лучше попьешь! Самовар у меня ведерной, два раза дольем — и оба досыта чаю попьем.

*

Я вот про Розку при жоне говорить стал заезжим охотникам. Охотники слушают по-настояшшему. Да как и не слушать! Коли говорю — значит правда, сказано в словах: «говоримое в говори живет».

Вот и говорю: умна собачонка Розка, особливо на медведя. Как в лес ступит, так и завынюхиват, где медведь спит. Вынюхает, лапу подымет и идет. Идем дальше, к медведю ближе, Розка вторую лапу подымет и идет.

Как близко заподходим, Розка третью лапу подымет и идет.

Как к берлоге подойдем... Тут я только что хотел сказать, как Розка четверту лапу подняла, и только для пушшей понятности руку поднял и говорю: «Вот Розка че...» — баба моя рявкнула, как из берлоги:

— Только соври у меня, что Розка четверту лапу подняла и пошла! Самовар греть брошу!

А Розке куды иттить? Уж пришли. Розка на хвост уперлась и четверту лапу подняла. Этим показала, что медведь тутотки.

*

Охотилась собачонка Розка на зайцев. Утресь поела и — на охоту. До полден бегала в лес да домой, в лес да домой,— зайцев таскала.

Пообедала Розка, отдохнула,— тако уж старинно заведенье после обеда отдыхать. И снова в лес за зайцами.

Розку волки заприметили и — за ней. Хитра собачонка! Быдто и не пужлива, быдто играт,— кружит около одного места: тут капканы были поставлены на волков. Розка кружит да через капканы шмыгат. Волки вертелись-вертелись за Розкой и попали в капканы.

Хороши волчьи шкуры были, большушши таки, что я из их три шубы справил: себе, жоне и бабке. А как волки-то Розкиной ловли, я и Розку не обидел. У шубы своей сзади пониже пояса карман сделал и для Розки. Розка тепло любит, в кармане спит и совсем неприметна, и избу караулит,— шуба в сенях у двери висит, ну, никому чужому и проходу нет от Розки. А как я в гости засобираюсь, Розка в карман на свое место скочит: по гостям ходить — для Розки перво дело.

В одних гостях увидал поп Сиволдай мою шубу, сразу обзарился и говорит:

— Эка шуба широка, эка тепла! Шубу эту мне носить больше пристало.

Одел поп Сиволдай шубу, а Розка как стала зубами шшолкать, попа сзаду хватать. Поп Сиволдай шубу скинул и говорит:

— Больно горяча шуба, меня в пот бросило!

Тут урядник не утерпел: у урядника руки к чужому сами тянутся.

— Коли шуба жарка — значит для меня как раз.

Надел урядник шубу, по избе начальством пошел. А Розка дело свое знат. Урядника рванула зубами. Не выдержал урядник, скинул шубу и говорит:

— Здорово шуба греет, да одно неладно,— в носке тяжела!

Хозяйка в застолье звать стала с поклонами, с упросами. Мы сели. Поп Сиволдай присел было, да подскочил (Розка по-настояшшому накусала) и на коленки стал у стола.

— Я буду на коленях молиться за вас, пьяниц, и, чтобы вы не упились, лишно вино в себя вылью.

Урядник тоже присел было, да выскочил, как обжегся, и проговорил, дух переводя:

— Коли батюшка поп Сиволдай на коленях, дак и я так же стану.

Стоят на коленях перед водкой поп да урядник, водку в себя хлешшут, пироги уплетают. В избе народу набилось полнехонько, всем охота поглядеть на попа да на урядника в эком виде.

Какой-то проходяшшой и украл мою шубу, в охапку подхватил и по деревне как каку дельну ношу понес. За деревней проходяшшой шубу надел. Розка его хватила сзаду. Проходяшшой не своим голосом взвыл. На всю Уйму отдалось.

Мы сполошились: что такое стряслось? Из застолья выскочили и видим: за деревней человек удират, за зад руками держится, а по деревне к нам шуба бежит. По дороге шуба расширилась, полами размахиват, рукавами вскидыват, воротником во все стороны качат, собак пугат.

Урядник торопится, пирог доедат, на меня наступат:

— Говори, Малина, кака така сила в твоей шубе?

У попа в руках в кажной по большому пирогу, а во рту варена рыба, поп только мычит да головой трясет. А говорить и ему пора. Поп Сиволдай пироги в карманы, а варену рыбину за пазуху и заорал:

— Это колдовство! Дайте сюды воды святой. Я шубу изничтожу!

Дали воды из рукомойки, Сиволдай брызнул на шубу — раз да и два на Розку водой попал. Розка водяного

брызганья не терпит, с шубой вместях подскочила, попа Сиволдая за пузо рванула. Ох, заверешшал поп! За брюхо руками хватился и за угол дома забежал, оттуда визжит, будто его режут.

Шуба к уряднику. Это Розка все своим умом выделыват, мое дело сторонне; урядник ноги заподкидывал да бегом из нашей деревни. И долго к нам не заглядывал.

Городски полицейски уж знали мою шубу; коли в волчьей шубе по городу иду — не грабили.

ПОРОСЕНОК ИЗ ПИРОГА УБЕЖАЛ

Тетка Торопыга попа Сиволдая в гости ждала. И вот заторопилась, по избе закрутилась, все дела за раз делат и никуды не поспеват! Хватила тетка поросенка, водой сполоснула да в пирог загнула. Поросенок приник, глазки зажмурил и хвостиком не вертит. Торопыга второпях позабыла поросенка выпотрошить.

А поп зван есть пирог с поросенком.

Тетка Торопыга шшуку живу на латку положила, на шесток сунула. Взялась за пирог с поросенком, в печку посадила, а под руку друго печенье-варенье сунулось. Торопыга пирог из печки выхватила, в печку всяко друго понаставила. Пирог недопеченной да шшуку сыру на стол швырнула. У пирога тестяны корки чуть прихватило. Поросенок в пироге рылом в тесто ткнул и жив отсиделся.

Торопыга яйца перепечены по столу раскидала. Сама тетка Торопыга вьется, ног не слышит, рук не видит, вся кипит!

Поросенок из пирога рыло выставил и хрюкат шшуке:

— Шшука, нам уходить надо, а то поп Сиволдай придет, нас с тобой съест,— не посмотрит, что мы не печены, не варены.

Шшука в латке булькнулась:

— Как уйдем-то?

— За пирог, в коем я сижу, зубами уцепись, хвостом от стола отмахнись, по печеным яйцам прокатись да норови к печке.

Шшука так и сделала. За пирог зубами уцепилась, хвостом от стола отмахнулась, по печеным яйцам прокатилась да к печке.

Пирог на шесток шлепнулся, корки разошлись, поросенок коротенько визгнул, из пирога выскочил, да на улицу, да к речке и у куста притих.

А шшука у самого шестка от пирога отцепилась и в ушат с водой угодила, на само дно легла и ждет.

Торопыга пусты корки пироговы в печку сунула,— допекла.

Гости в избу. Поп Сиволдай ишшо в застолье не успел сесть,— пирог в обе руки тем краем, из которого поросенок убежал, повернул ко рту и возгласил:

— Во благовремении да с поросенком...— и потянул в себя жар из пирога.

Жаром поповско нутро обожгло. В нутре у попа заурчало, поп с перепугу едва слово выдохнул:

— Кума, я поросенка проглотил! Слышь — урчит.

Крутанулся Сиволдай по избе — да к речке, упал у куста и вопит:

— Облейте меня водой холодной, у меня в животе горячий поросенок!

Тетка Торопыга заместо того, чтобы воды из речки черпнуть, вытаншила ушат с водой и чохнула на попа.

Шшука хвостом вильнула, в речку нырнула.

Поросенок это дело увидал, из-за куста выскочил и с визгом ускакал в сторону.

Поп закричал:

— Не ловите его, он уж съеден был!

Поп вызнялся, оглядел себя всего. После экого угошшенья он не то что не сыт, а даже отошшал весь.

УГОЛЬНО ЖЕЛЕЗО

Запонадобилось жоне моей уголье, и чтобы не покупное, а своежженое. Я было попытал словом отолкнуться:

— Не робята у нас, хватит с нас, робята будут — сами добудут.

Баба взъершилась. И на всяки лады, на всяки манеры меня изругала.

— Семеро на лавке, пять на печи, ему все ишшо мало!

Я от жониной ругани подальше. Из избы выбрался, сел за угол. Как подумал о работе, так и устал. Отдох-

нул. Про работу вспомнил — опять устал. Так до полден от несделанной работы отдыхал.

Время обеденно, жона меня сыскала:

— Старик, уголье нажег уже?

— Нажгу ужо!

После́ обеда соснуть не пришлось — прогнала баба на работу. Только я угнездился для спанья — старуха кричит:

— Старик, уголье нажег уже?

— Нажгу ужо!

За подходяшшим матерьялом надо в лес иттить, а мне неохота; я осиннику наломал,— тут под рукой рос,— кучу наклал, зажег. Горит, чернет, а не краснет. Како тако дело? Водой плеснул — созвенело, в руки взял — железо. В руки взял: весом — деревянно уголье, а крепостью — всамделишно железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настрогал: и самоварну трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату — ну, всяку полезность обжег, жоне принес, думал — будет сыта, а жона обновки угольно-железны запереби- рала, языком залопотала:

— Поди скорей, старик, нажги, принеси: ухваты, шшипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорной обнос, сковородки, листы, да гвоздей не забудь, новы скобы к избенным да к банным дверям, да флюгарку с трешшоткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся!

Я свернулся поскорей, пока баба не надумала чего несуразного. Наделал все по бабьему говоренью, нажег, к избе приволок, все очень железно и очень деревянно!

Кабы тешшина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов нaелся бы. Тешша за рекой живет. Придумал мост через реку построить, к тешше в гости ходить.

Обжег большушшую осину, толстушшую дубину со столб ростом. А этот столб в берег вбил, начало мосту сделал. Сидел около, соображаю: какой меры да какого вида штуки для моста обжигать?

Вдруг инженер царской налетел на меня, криком пыль поднял.

— По какому полному праву зачал мост строить, ковды я инженер казенной царской, а плана не составил и задатка не пропил? Перестать строить и столб убрать!

Я ему, инженеру казенному царскому, и говорю:

— Не туго запряжено, можно и вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.

Столб-то хошь и из осины, да железной, ево не срубишь, нижной конец в земле корни пустил, его не выдернешь. Бились-бились — отступились.

Весной столб Уйму спас.

Вот как дело было. Вода заподымалась, берег заподмывала. Гляжу — дело опасно. Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил, привязал накрепко. Наша Уйма была вся в куче,— дом возле дому, все в тесноте. Водой подмыло Уйму и с места сдернуло! Веревка в море не пустила, на месте удержала, Уйма в ряд вытянулась да так и до сего дня стоит. Не веришь — сходи проверь. Пока с одново конца до другово пойдешь, не раз есть захошь.

Ко мне инженер казенной царской пристал с расспросом:

— Где эко особенно железо достал?

У меня ответ уж готов:

— В болоте экого железа сколь надобно!

Инженер казенной план составил, задаток пропил,— стали болото сушить. Канавы копают, а железа нету. Стали-таки канавы копать, по которым вода из болота да опять в болото.

Много товды работал царской инженер казенной — ничего не наработал, да много заработал.

НА УЙМЕ КРУГОМ СВЕТА

Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть. Ежеденно мне твердит:

— Хочу круг света объехать, поглядеть, как люди живут, как все есть на свете! Да так объехать, чтобы здешних новостей не терять, чтобы тамошно видеть и про здешно знать: кто на ком женится, кто взамуж идет, у кого нова обнова, у кого пироги пекут!

— Как так свет объехать, все оглядеть и в ту же пору про Уйму все знать? В город поедешь на полден — дак уемских новостей короба накопятся, а ты на особицу хошь и там и тут все знать! Как так?

— Как сказала, так и делай, а не перетакивай!

В это дело запасны ветры сгодились. Я под Уймой

в разных местах дыр навертел, туда ветров натолкал, за завязки дернул. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С той высоты широко стало видать.

Бабы забегали, заспорили, который венец деревни носовой, которой кормовой? Остроносы кричат, что ихно место на носу, с носу первы все высмотрят, первы всем расскажут.

Попадья с Перепилихой в спор взялись. Чуть не в драку: которой кормой быть? Попадья кричит:

— Толще меня нет никого, про меня все говорят: шире масленицы. Я и буду кормой!

Перепилиха не отступат:

— Я шире всех, на мне больше всех насдевано, я буду кормой. Я буду Уймой в лёте править!

Чтобы баб угомонить, я под Уйму с разных концов сунул встречны ветры, они и держат деревню на одном месте. У деревни все стороны носовы стали, со всех сторон вперед гляди.

Уйма на ветрах на месте стала, а земля свой ход не меняет, под нами поворачивается.

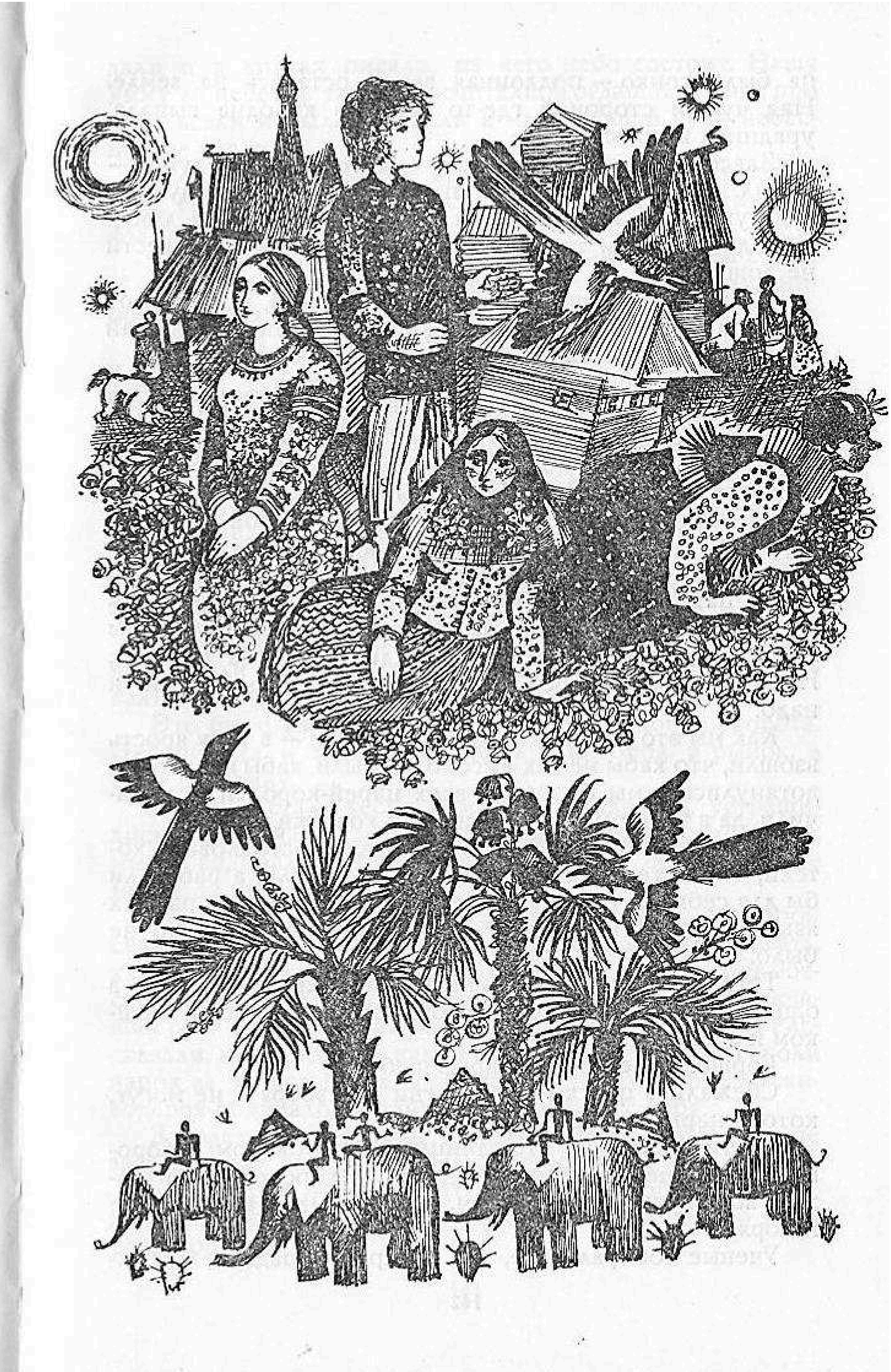
В Уйме у нас, как мы на одном месте стоим, и день прошел, и вечер череду отвел, и ночь стемнела, и обутрело и опять до полден, а земля под нами полным ходом идет, и на ней всю пору полден, все время обеденно. Земля под нами разны места показыват в полной дневной ясности.

Так вот мы на ветреном держанье, с места не сходя, весь свет объехали. Что в других краях — сверху высмотрели. Сверху больше видать, чем земным ездокам.

Много стран мы поглядели, а жить нигде не захотели окромя нашей Уймы. Наш край не то что сейчас, а и в старо время был самолутчим, кабы не полицейски да не попы.

С попом Сиволдаем и с урядником особо дело вышло, они ничем ничего не видали, ничего не понимающими и остались.

Сиволдай услыхал, как Уйма колыхнулась и шевелиться стала,— от страха и в колодец скочил и сел на дно. Воду из колодца на тот час всю на огороды вычерпали, как по заказу. Урядник во всех делах с попом заодно и по примеру поповскому в другой колодец полез, а колодец-то с водой. Урядник чуть-чуть не утоп, шашкой в стенку колодца воткнулся, ногами в другу растопырился — эдак много верст продержался. Дно-то у колод-



ца было тонко — поддонная земля осталась на земле. Над чужой стороной где-то вода из колодца выпала, урядника выплеснуло.

Завсегда говорят: не плачь — потерял, не радуйся — нашел. Мы потеряли — не плакали. И не оглянулись, куда урядника выкинуло: от нас далеко — нам и любо. Обрадовались ли там, где нашли, об этом до нас вести не дошли.

На месте деревни осталось одно ничего, а на нем от колодца мокро место, а на мокром месте поп Сиволдай сидит не шевелится, от страху дыхнуть боится.

Мы сутки не спали, во все глаза глядели.

Видели мы разны всяки страны, видели разных народов. У всякого народа своя жизнь. Над всякими народами свой царь либо король сидит и над народом всячески изгиляется да измывается. Народным хлебом цари, короли объедаются, на народну силу опираются да той же силой народной народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными да сильными почитал, цари-короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомоном ум отбивают, кадилами глаза туманят. Непонимающий народ отпору не дает, думат — так и надо.

Как мы это усмотрели да в толк взяли — в таку ярость взошли, что кабы не так высоко мы были, кабы наши руки дотянулись — мы бы разом всех царей-королей прикончили, да в те поры у нас руки были коротки.

Бабы кричать пробовали народам, растолковать хотели, чтобы те в работе на царей не потели, а работали бы для себя. Да опять-таки дело не вышло: мы на разных языках говорили. Тогда у нас общего языка ишшо не было.

Тетка Бутеня пойло свиньям варила и не стерпела: в одного царя злого, обжористого шваркнула всем горшком и с пойлом.

Горшок вдребезги, и царь вдребезги.

Сбежались царски прихвостни и разобрать не могут, которо царь, которо свинска еда?

Други бабы — не отстатчицы. С приговором: «Хорошо дело — не опоздано!» — давай в королей-царей палить всем худым (даже таким, о чем громким словом и не говорят)!

Ученые собирали все, что в царей попадало, обсуждали и в книгах писали, из чего небо состоит. Нашу Уйму за небесну твердь посчитали. Тогдашны учены про небо всяки небылицы плели и настояшшой сути небесной не знали.

Ученым надо было с другого конца начать рассуждать. Не из чего небо состоит, а что в царей летит, что для царей подходяшшо.

С той самой поры наша деревня понимаюшшей стала. И начальство полицейско-поповско нам, уемским, нипочем и ни к чему стало.

Сиволдай да урядник ничего не видали, так темными и остались. От урядника мы избавились, а Сиволдая просто без вниманья оставили. Из моды вышел — и все тут.

Перепилиха с попадьей во все стороны глядели, а ругаться не переставали. Попадья ругалась, крутилась, подолом пыль подняла — силилась всем попадьям чужестранным пыль в нос пустить!

Перепилиха заверешшала голосом пронзительным, на целом месте дыру вертеть стала. Мелкой крошеной землей да крупной руганью отборной царских-королевских чиновников здорово обсыпала.

Пропилила Перепилиха сквозну дыру. Обе ругательницы были руганью, как делом, заняты, обе зараз и провалились в дыру.

Это было уже в остатнем пути земельного поворота. Перепилиха и попадья упали в наш город, в рынок, в саму середину.

В рынке стало тесно. Торговки удивились, устрашились — замолчали (до этого случая молчаливых торговок мы не видывали!). Котора торговка язык остановить не могла, та руками рот захлопнула.

Прилетны гости, как говорильны газеты, вперебой сначала, а потом обе в один голос стали рассказывать, каки страны, каких народов видели, где во что одеваются, где что едят. А потом, как путевы, вроде понимаюшших себя выказали и заговорили про царей-королей. Рассказали, как показали, какой они силой держатся. И коли народ за ум возьмется, вместях соединится, то всех живодеров-обдиралов в один счет стряхнет с себя.

За эдаки беспокойны неподходяшши слова чуть не заарестовали говоруний. Начальство так объявило:

— Говорят не от своего разуму. Надобно вызнать, каким ветром в Перепилиху да в попадью надуло экой разговор.

Полицейски, которы в рынке не были, и те переполошились; видели длинну темноту над городом.

В само то время, как суткам быть, Уйма на свое место села. И потеперя на том месте. Можете проверить — сходить поглядеть.

Поп Сиволдай из колодца выскочил, и как раз в пору: колодец водой налился — вода накопилась (дожидалась), колодец полон, а вода — через край да сама на огороды поливкой.

Мы полдничать сели, к тому череду поспели.

По дороге пыль поднялась: больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу после Перепилихиной да попадьевой трескотни прибежали, бумагами машут, печатями страшшают, требуют штраф, налог, а и сами не знают, за что про что.

Мы уж понимали, что чиновники только мундиром да пуговицами страшны. Мы всей деревней на них гаркнули. Чиновники подобрали мундиришки, бумагами прикрылись, печатями припечатались, мигом улепетнули.

В городе губернатору докладывали:

— Деревня Уйма сбунтовалась! Ни за что ни про что денег платить не хочет, на нас, чиновников, непочтительно гаркнула вся деревня, кабы мы не припечатались — из нас дух бы вылетел! Ваше губернаторство, можете проверить — от Уймы до городу наши следы остались.

Губернатор свежих чиновников собрал, полицейских согнал, к нам в коляске припылил. Из коляски не вылезат, за кучера полицейского держится, сам трепешшется и петухом кричит:

— Бунтовшшики, деньги несите, налоги двойны платите! Деньги соберу — арестовывать начну!

Выташшил я штормовой ветришше. Мужики помогли раздернуть прямь губернатора, чиновников, полицейских. Раздернули да дернули! А он, ветер штормовой, так рванул губернатора с коляской, чиновников с бумагами и печатями и с полицейскими,— как их и век не бывало!

Опосля того начальство научилось около нас на цыпочках ходить, тихо говорить.

Да мы ихны тихи подходы хорошо знали.

Штормовы ветры у нас наготове были — и пригодились.

СЛАДКО ЖИТЬЕ

Посереди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так чтобы большой, не на сто градусов, врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гостьи с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по деревам постукиват.

Гляжу — пчелы!

Ох, ты, — пчелы? И живы и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и спрячет себя.

Как бы я от кума шел, ну, тогда дело просто — с пива хмельного в глазах всяка удивительность место находит. Кабы я из полицейской кутузки был выпушшен, тогда бы и память и пониманье всяко были бы отшиблены. А я в настояшшем своем виде, во всем порядке.

И пчелы!

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на меня сладким теплом дохнуло. Нюхнул — пахнет медом, пряниками, лампасьем хорошим.

Я шагнул в туман, а он подается, а не раздается, в себя не пушшат. Хотел я напролом проскочить, напором взять, а туман тугой — упором держится, тихо-тихо, а вытолкнул меня вобратно на холод.

А пчелки трудяшши шмыгают в тумане, похоже — зовут к себе в гости. Хотел я пчелкам слово сказать, рот отворил, а туман сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — оченно даже приятно. К чаю это подходяче.

Стал топором туман рубить. Прорубил в сладком тумане ход, протолкал себя на ту сторону.

И попал я на сладки воды, на теплы воды. На те самы, которы в нашей холодности хранили себя.

Стою я в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке. На травке цветочки всяки покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.

Берег озерка усыпан разноцветным лампасьем. Озерко гладку волну вздымат на берег, новы пригоршни лампасья кинет, у берега вспенится пена, сахаром на берегу остается.

Пчелки золотыми кругами носятся, золоты узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу. На берегу мед — ровными стопками: кажна стопка ростом с овин, а то и с два. Это тройке воз, если мерить на увоз.

Для испытанья хлебнул воду. Вода тепла, сладка.

И все место так хорошо туманом спрятано, что никакому полицейскому не пронюхать.

А кругом дела делаются. От моего прихода тепла прибавилось. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником двинулся.

Я посторонился. Туман раздвинулся. Пряники, широчашши, длинняшши, двинулись по моим следам. Пчелки трудяшши, работяшши на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье изловчилось да под пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам в деревню, к моему двору вместях с пряниками прикатилось.

Чтобы сладко добро от захватчиков спрятать, я туман захватил за край и растянул занавеской на весь путь пряникам и с той и с другой стороны.

Через туман не видно пряников самоидущих, скрозь туман без особой сноровки не проскочишь! Дело большое, хорошее и никому не известное.

Кабы пряники были с воротину ростом, дело было бы просто, мы по поветям, по амбарам, под навесами уклали бы от жадных глаз, от грабительских лап. Пряники шириной с улицу!

А пряники идут и идут. Мы их на ребро да к дому. Пряник во всю стену. Мы домы пряниками обставили, крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши лампасьем леденцовым разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.

Туман не остановился, тянется от сладкого озера и у нас на задворках вьется, в сладки кучи складывается.

Пряники без устали самоходно себя месят, пекут, к нам себя катят, кучами складываются.

Народ у нас артельный, на помошшь пришли, пряники к себе растаншили. Дома, сидя за чаем, сладким угошшаются, потчуются.

К нам коли хороший человек поколотится, мы пряничны ворота отворим, с поклоном принимаем, с упросом угошшаем. Накормим, напоим, с собой запас дадим.

Поколотился урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:

— Милости просим, заходите, гостите, для вас самовар ставим, на стол собирам, рюмки наливам, только ворота пряничны не отворяются. Уж вы не стесняйте себя церемонией, поешьте пряники. Коли проедите дыру в меру своей вышины, ширины, то в избу зайдете, гостями будете.

Поп, урядник, чиновник на пряничны ворота набросились, пряник ломают, животы набивают, руками разглаживают, чтобы умять и больше втолкать. Карманы пряниками нагрузили, в руках большие охапки, а ходу к нам нет.

Вот без полицейских и без чиновников у нас и стало сладко житье.

ПРЯНИКИ

Пряники беспрерывно прибавляются. У нас в Уйме места уйма, а от пряников тесно стало. Надо в город везти хорошему простому народу в угошшение, а остальным в продажу.

По зимней ровной дороге мы крупного лампасья насыпали, на лампасье пряник на пряник поставили вышиной на аршин выше дома, шириной ровно в улицу, для сохранности сладким туманом прикрыли, покатили.

До городу восемнадцать верст в две минуты доехали. По улицам пряники за туманом двигают себя на круглом лампасье. В ту пору ни конному ни пешему в тех улицах ходу нет.

На что полицмейстер,— кажется, страшней его не было никого,— а и тот от пряничного напору со всей своей тройкой свернул в узенький переулок и до потемни, до конца торгового дня из переулка высвободиться не мог.

О своем товаре мы не кричали, не объявляли, и так всем ведомо стало: пряничной дух всех с места скинул. Все на рынок за пряниками пришли.

Простому хорошему народу мы пряники так давали, кто сколько мог на себе унести. Чиновничьему люду продавали. Цена нашим пряникам та же, что и лавошным, только мера другая. В лавках цена за фунт, а у нас за ту

же цену бери махову сажень. Как-никак, махова сажень — два аршина с лишним, а коли кто длинный меряет, то и три аршина. Бери сажень в вышину, в ширину!

Попервости чиновники фыркали:

— Много навезено, задешево продавают, значит, нестояшшой товар! Нам угодно того, чего мало али вовсе нет и что втридорога стоит.

Носом повертели, а не утерпели, попробовали — и отстать не могут. Пряники — еда вманчива!

Все ели одинаково, а действие было разно.

Простой народ ел, сытел, в тело входил, спину разгибал, голову подымал, на ногах крепче держался.

Чиновники, полицейские, попы, богатеи едят, а их то корежит, то распират. Солоны им пряники, не по нутру пришлись, а едят. Весь народ хвалит — значит, в пряниках что-то есть. Охота полицейским, чиновникам и их помошникам до сладкого добраться.

Хорошему народу трудяшшему мы пряники давали со всей писаностью, со всей печатностью. А полицейским от тех же пряников и большушши куски отворачивали, а на них завсегда или пусто место или точка. Полицейским не спится, не сидится, надо им вызнать: как, что, с чего повелось, откуда завелось?

Полицейски тихим обходом дело начали, ко мне тонкими лисами подъехали:

— Так и так, Малина, ты мужик справной, хорошо живешь, помалу не пьешь. Скажи на милость, откудова в Уйме пряников така уйма?

Спрашивают секретным, особым голосом. Я им в том же виде отвечаю:

— Ежели скажу да покажу, то ваше начальство и у нас, мужиков, и у вас, полицейских, все себе отберет. Я покажу только вам по секрету — приходите ко мне в сутемки, сыты будете.

Были у меня бочки сорокаведерны припасены для медового запасу. Бочки я медом густо смазал.

Как стемнело, полицейски заявились. Я их пряниками накормил до раздутья. И по одному к бочкам подводил. Бочки без днишш, да на боку да в потемни очень схожи с потайным ходом.

Полицейски в бочки сунулись, в мед влипли, я днишша заколотил, для воздуху дырки просверлил. На бочках надпись вывел: «Перевертывать!»

Кто идет, тот и пнет. За околицу выпинали в минуту. На дороге бочки не застаивались: всегда было кому пнуть, перевернуть. От полицейских миром избавились!

По большим дорогам большое начальство на тройках разъезжало, а бочки поперек дороги выкатывались. Начальство, как полагалось, медвежьей болезнью сейчас же болело и кричало: «Ой, ай, бомба!»

На поверку оказывался полицейский городовой!

В городе у нас тишина, спокой. Никто в морду не бьет, никто не орет, никого не грабят, никого в кутузку не тянут.

Полицейски заправилы всеми приказами кричат:

— Это беспорядок — во всем городе порядок!

ЦАРЬ В ПОХОД СОБРАЛСЯ

А пряники тянутся, к нам тянутся, в штабеля ставятся. По всей деревне задворки пряниками загружены. Мы-то едим, надо дать и другим! Стали по железной дороге в разны города посылать. Пряники нагрузили на платформы. Туманом легонько прикрыли, чтобы узоры на пряниках не портились, чтобы письменность пряников писаных полицейским на глаза не попадала.

Полной состав не очень большой отправили — всего пять верст длины, а потом уж и по десяти, но больше двадцати пяти верст состава не делали.

Покатили наши пряники писаны-печатны по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до царя, до министеров, до важных начальников, до царского двора, до царской подворотни.

Все переполошились, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикиват:

— Как так, из голодной губернии в урожайны места сытость идет? Запретить, прекратить!

Царица заверешшала:

— Дайте мне пряника самоходного, я таких не едала, не видала. Ни жить, ни быть не могу — давайте пряника скореича!

Министеры духу набрали и прокричали:

— Ваше царско, пряники-то печатны!

— Как так печатны?

Царь заскакал, всем министрам, всем генералам по зубам надавал. Успокоился и всем по царской награде привесил. Дух перевел и заговорил:

— Я же своим царским словом приказал: учить — обучайте, а понимать не позволяйте. Я большу грамоту запрешшаю.

— Ваше царско, по твоему приказу в тот край политиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего, а они пешком шли и каждым шагом народу пониманье несли.

Царь схватил бутылку с водкой, о донышко ладошкой стукнул, пробку умеючи вышиб, в один дух водку выпил и царско слово сказал:

— Заботясь неизменно о благе своем, приказываю пряники писаны-печатны опечатать и впредь запретить!

Министеры разными голосами в один голос рапортуют:

— Ваше царско, дозвольте доложить: архангельскому народу нельзя запретить — из веков своевольны, и пока по железной да по большим дорогам пряники посылают — это ничего. По большим путям народ и сам терят почтенье и к чину и к богатству, а как дойдут пряники писаны-печатны до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо умных людей послать, чтобы сладко житье прикончили, теплы воды изничтожили, народ к голоду поворотили. С сытым народом да грамотным нам не справиться.

Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул:

— Я умней всех! Сам в Уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хороше житье прикончу!

Царь распетушился, на цыпочки вызнялся, чтобы высочайшество свое показать — да не вышло. Ни росту, ни духу не хватило. Тут два усердных солдата от всего старанья царя за опояску на штыки подцепили и вызняли высоко, показали далеко.

И... крик поднялся! Вопят, голосят царица с царевятами, министеры с генералами.

— Что вы, полоумны, делаете? Разве можно всему народу показывать настояшшу видимость царску! Народу показывать можно только золоту корону, а что под короной, то не показывается, про то не говорится.

Царь в поход собрался.

— Еду, — кричит, — в Уйму, вот моя царска воля!

Выташшили трон, хотели на дровни поставить, да узки, поставили на розвальни, веревками привязали.

Стали царя обряжать, одевать: надо царску видимость сделать. На царя навертели, накрутили всяко хламьестарье — под низом не видно, а вид солидней. Поверх тряпья ватной пинжак с царскими знаками натянули, на ноги ватны штаны с лампасами, валенки со шпорами. Сапоги с калошами рядом поставили.

Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала. На голову волчью шапку с лисьими хвостами напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золочеными веревками к царю привязали.

Под троном печку устроили для тепла и для варки обеда. Царю без еды, без выпивки часу не прожить.

Трубу от печки в обе стороны вывели, чтобы на ходу из-под трона дым и искры летели для народного устрашения. Царь, мол, с жаром.

Все снарядили. В розвальни тройку запрягли. По царскому приказу ишшо паровоз в упряжку прибавили, на паровоз подгоняльшшика верхом посадили.

В колокола зазвонили, в трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет. Царь думат — его чествуют.

На трон царь вскарабкался, корону залихватски набекрень сдвинул, печать для царских указов в валенки сунул, шубу на плечи накинул второпях левой стороной кверху.

Царица со страху руками плеснула, о снег грохнулась и ногами дрыгат. Министеры, генералы и все царски прихвостни от испугу завопили:

— Ай, царь шубу надел шиворот-навыворот, задом наперед. Быть царю биту!

Кабы не паровоз, кони — вся тройка — от этого крику на месте не удержались бы, унесли бы царя и с печкой, и с троном, и с привязанной короной. Паровоз крику не боится. Сам не пошел и коней не пустил.

Вышел один из министеров, откашлянулся и так слово сказал:

— Ваше царско, не езди в Уйму, я ее знаю: деревня длинновата, река широковата, берега крутоваты, народ грубоват. И впрямь — побьют.

Царь едва из-под короны вылез, с трона слез, сел на снегу рядом с царицей и говорит:

— Собрать мою царску силу, отборных полицейских и послать во все места, где народишко от писаных-печат-

ных пряников сытым стал. Пускай моя царска сила старается и сытых в голодных повернет.

Царь на снегу расписался: быть по сему.

К нам приехали полицейски — царска сила. Мы таких страшилищ и во снах не видывали. Под шапками на месте морды что-то кирпично и пасти зубасты растворены — смотреть страшно. Животы что амбары, карманы — товарны вагоны, а зад — хошь рожь молоти, хошь овин на нем ставь.

Страшны, сильны, а на жадности попались. Увидали пряники вкруг наших домов — от жадности затряслись и с разбегу, с полного ходу вцепились зубами в пряничны углы у домов. Урчат, животы набивают, жрут. А нам любо — ведь на каждом пряничном углу пусто место или точка и как раз для полицейских — для царской силы та точка-то. Много полицейски старались, жрали, пыхтели, а дальше углов не пошли: нутра не хватило. Вышла полицейским — точка. Их расперло в огромадну толшшину. Мы радовались, что зимой на холоду, а не летом. В жарку пору тут бы их и разорвало.

Объелись полицейски. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуры всяко друго наклали, туши катнули.

И покатилась от нас царска сила.

Царь в город записку послал, спрашивал: как царска сила — полицейски действуют? Записка в подходяшши руки попала и ответ был даден:

— Полицейски от нас выкатились. Царску силу мы выпинали. Того же почету вам и всем царям желам.

ДЕВКИ В НЕБЕ ПЛЯШУТ

Перед самой японской войной задумали наши девки да робята гулянку в небе устроить.

На пьяных вызнали, для какого лёту сколько пить надобно.

Вот вызнялись девки в гал. Все разнаряжены в штофниках, в золотых коротеньких, в золотых жемчужных повязках на головах. Ленты на шелковы шали трепешшутся, наотмашь летят.

Все наряды растопырились, девки расшеперились.

В синем небе — как цветы зацвели!

Девки гармониста с собой взяли, по прозвишшу Смола.



Смола в небе сел сбоку хоровода, ногу на ногу, гармонь — трехрядка с колокольчиками. Смола гармонь раздернул и почал зажаривать ходову плясову.

Девки в небе — в пляс!

Девки в небе песней зазвенели!

А моя-то баба, на пляс натодельна, в алом штофнике с золотыми позументами выше всех выгалила, да вприсядку в небесном-то кругу пошла.

И у нас на земле пляс. Не отступам, по-хорошему ногами кренделя откалывам.

И разом остановка произошла!

Урядник прискакал с объявлением войны японской.

Да как распушился урядник!

— По какому,— кричит,— полному праву в небе пляску устроили? Есть ли у вас на то начальственно разрешение?

Перевел дух да пуше заорал:

— И это вы военны секреты сверху высматриваете!

Ну, мы урядника ублаготворили досыта, лётного пива в его утробу с ведро вылили.

А жаден был урядник, упрашивать не надо, только подноси.

Вот урядника расперло, вызняло и понесло и невесть куда унесло. А нам искать не под нужду было. Рады, что не стало.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Было это в японску войну. Мобилизацию у нас объявили. Парней всех наметили на войну гнать. Тут бабы заохали, девки пуше того. У каждой, почитай, девки свой парень есть. Уж како тако дерево, что птицы не садятся,— кака така девка, что за ней парни не вьются?

Одначе девки вскорости охать перестали, с ухмылкой запохаживали.

«Что,— думаю,— за втора така?»

А у каждой девки на подоле — то по рубахе, то по юбке — мужички понавышиваны.

Старухи не раз унимали:

— Ой, девоньки, бесперечь быть войне; эстолько мужичков навышивывали!

Девки по деревне пошли, подолами трясли, вышитых стрясли, а взабольшны парни у подолов остались.

Вышиты робята выстроились, как заправдашны рекрута.

Девки в котомки шапок наклали, чтобы было чем врагов закидывать.

Тут начальство прискакало, загрохотало на всю улицу:

— И так не так и этак не так. Да давайте лошадей, новобранцев в город везти!

Была у нас старушонка-бобылка, по прозвишшу Сахариха. Вот Сахариха всех новобранцев собрала, веревкой связала, на спину закинула да и в город двинулась.

В вышитых-то — сам понимашь — тяжесть не сколь велика.

Начальство как увидало, что одна старушонка таку силу показала, да поскорей на коней, да прочь от нас.

А мы тому и рады.

Наутро за мной пришли. Моя-то баба не выторопилась вышивку сделать да заместо меня сдать в солдатчину.

Явился, куда указано.

Доктор спрашиват:

— Здоров?

— Никак нет, болен!

— Чем болен?

— Помалу есть не могу!

Повели меня на кухню. Почали кормить. Съел два ушата штей, два ушата каши, пять ковриг хлеба, выпил ушат квасу.

— Сыт? — спрашиват доктур.

— Никак нет, ваше докторово, только в еду вхожу, дозвольте сызнова начать.

— Что ты,— кричит доктор,— лопнутие живота произойти могет!

— Не сумлевайтесь,— говорю,— лишь бы в брюхо попало, а там брюхо само знат, что куды направить.

Начальство совет держало промеж себя и написали постановление:

«По неграмотности и невежеству родителей с детства приучен много есть и для армии будет обременителен».

Отпустили меня. Пошел по городу брюхо протрясать. Иду мимо нарядного дома, окошки полы стоят.

Вижу — начальство пировать наладилось, рюмки налили, рюмками стукнулись и ко рту поднесли.

Я воздух в себя потянул — все вино мне в рот!

Налили опять. А мне пить охота. Я воздух к себе потянул да попуще,— из всех рюмок, стаканов да из всех бутылок вино все в меня.

Начальство заоглядывалось.

«Ну,—думаю,— коли меня заприметят, то не видать мне своей бабы».

Чтобы от греха убраться, хотел почтой, да до нас почта долго идет: я на телеграфну проволоку скочил, телеграммой домой доставился. Оно скоро по телеграфу ехать, да на стаканчиках подбрасыват, весь зад отшиб.

Мало время прошло, встретил меня поп Сиволдай и кричит:

— Малина, да ты жив? А народ говорит, что ты живот свой положил за кашу!

Я без ухмылки отвечаю:

— Выхолопнул я, отец Сиволдай, живу наново!

— Вот и ладно,— говорит Сиволдай,— я тебя в город справлю да в солдаты сдам; скажу, чтобы тебе туже живот стягивали, есть будешь в меру.

— Ну-к, что ж,— говорю ему,— справь, да за руку веревку привяжи,—бытто дезертира приведешь; награду получишь, каку ни есть.

Вот привязал Сиволдай веревку к моей руке, а другой конец — к своей руке. А я лыжи одел да припустил ходу по дороге. Поп вприпрыжку, поп вскачь!

Одначе живуч, в городу отдышался.

По уговору сдал меня не как Малину, а как Вишню,— это за то, что я дозволил вскачь бежать, а не волоком тащил.

Отправили меня на Дальной Восток.

Как есть охота придет,— открою двери теплушки, в которой с товаришшами ехал,— понюхаю, где вареным да печеным пахнет. С той стороны воздух в себя потяну,— из офицерских вагонов да из ресторацийi все съедобное ко мне летит. Мы с товаришшами двери задвинем и едим.

Приехали.

Пошел я по вагонам провианту искать. Какой вагон ни открою — все иконки да душепользовательны книжки — и заместо провианту и заместо снарядов боевых.

Почали бой. Японцы в нас снарядами да бомбами,

снарядами да бомбами! А мы в них иконками, иконками!

Кабы японцы нашу веру понимали, их бы всех укокошило. Да у них вера своя, и наша пальба для японцев дело постороннe.

Взялись за нас японцы ну — куда короб, куда милостыня!

Стоял я на карауле у склада вешшевого,— у ворот столб был с надписью: «Посторонним вход воспрешшен». Как тряхнет снаряд! Да прямо в склад, все начисто снесло! Остался столб с надписью: «Вход посторонним воспрешшен», а кругом чисто поле,— узнай тут, в котору сторону вход воспрешшен?

Одначе стою. Дали мне медаль за храбрость да с банным поездом домой отправили.

НАПОЛЕОН

Это что за война. Вот ковды я с Наполеоном воевал!

— С Наполеоном?

— Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идет по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в трактир. Угошшаю сбитнем с калачами да музыку заказал. Орган затрешшал: «Не белы-то снеги».

Вдруг кто-то кричит:

— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием приятельствует.

Оглядел я свово приятеля,— и впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались, из моды вон лезли, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгашшивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

— Куды в чужу избу зовешь? Я к тебе в Париж твой приеду. А теперь, ваше Наполеонство, вишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налетать. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Ну, не заставь размахивать. Однаконечно скажу:

— Марш из Москвы, да без оглядки!

Понял Наполеон, что Малина не шутит,— ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота с каменьем. Сейчас покажу. Стой, дай вспомню, куда я ее запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомню — по-

кажу,— там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь: при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

МАМАЙ

Вишь ножик, лучину которым шшиплют? Я его из Мамаевой шашки сам перековал.

Эх, был у меня бубен из Мамаевой кожи. Совсем особенной: как в его заколотишь, так и травы и хлеба бегом в рост пустятся.

Коли погода тёпла, да солнышко, да утречком в Мамаев бубен колотить станешь, вот тут начнут расти и хлеба и травы. К полдню поспеют, а вечером и коси и жни. А с утра заново вырашшивай, вечером опять хлеб собирай, и так — кажной теплой день. Только анбары набивай да кому надобно — уделяй.

А ты говоришь — не жил в то время. Лучше слушай, что расскажу,— сам поймешь,— не видавши не придумать.

Мамай, известно дело, басурманин был, и жон у его цельно стадо было, все жоны как бы двоюродны, а настояшша одна — Мамаиха. И очень эта Мамаиха мне по нраву пришлась: пела больно хорошо. Бывало, лежим это мы на полатях (особенны по моему указанию в еённом — Мамаихином шатру были построены). Лежим это, семечки шшолкам да песню затянем. Запели жалостну протяжну. Смотрю, а собака Кудя,— вишь, имя запомнил, а ты не веришь! Дак сидит эта собака Кудя и горько плачет от жалостной песни, лапами слезы утират. Мы с Мамаихой передохнули да разеселу завели.

Птицы мимо летели, сердешны, остановились да к нашему пенью прибавились голосами. Даже Мамайка,— это я Мамая так звал,— сказывал не однажды:

— И молодец ты, Малина, песни тянуть. Я вот никакой силе не покоряюсь, а песням твоим покорен стал.

Надо тебе про Мамая сказать, какой он был, чтобы убедить тебя, что во ту пору я жил. Я тако скажу, что ни в каких книгах не записано, только я в памяти держу. К примеру вид Мамаев: толстой-претолстой,— живот на

подпорках, а подпорки на колесиках. Мамай ногами брыкат, подпорки на колесиках покатят, будто лисапед какой особого манеру.

Ну, кто тебе скажет про Мамаевы штаны? А таки были штаны, что одной штаниной две деревни закрыть было можно.

Вот раз утресь увидал я с полатей,— идет на Мамая флот японской. Мамай всполошился. Я ему и говорю:

— Стой, Мамай, пужаться! С японцами я справлюсь.

Выташшил я пароходишко,— с собой был прихвачен на всякой случай. И пароходишко немудряшшой,— буксиришко, что лес по Двине ташшит.

Ну, ладно. Пары развел, колесом кручу, из трубы дым пустил с огнем. Да как засвишшу, да на японцев!

Японцы от страху паруса переставили да домой без остановки.

Я ход сбавил и тихим манером по морю еду с Мамаихой. Рыбы в переполох взялись. Они, известно, тварь бессловесна, но нашли-таки говоряшшу рыбу. Выстала говоряшша рыба и спрашиват:

— По какому такому полному праву ты, Малина, пароход пустил, ковды пароходы ишшо не придуманы?

Я объяснил честь честью, что из нашего уемского времени с собой прихватил. Успокоил, что вскорости домой ухожу.

Прискучило мне Мамая терпеть. Я и говорю ему:

— Давай, кто кого перечихнет. Я буду чихать первый.

Согласился Мамай, а на чих он здоров был. Как-то гроза собралась. Тучи заготовку сделали. Большушши, темняшши. Вот сейчас катавасию начнут. А Мамай как понатужился, да полно брюхо духу набрал, да как чихнет! Дак тучи-то — которы куда. И про гром и про молнью позабыли.

Ну, ладно, наладился я чихать, а Мамай с ордой собрался в одно место. Я чихнул в обе ноздри разом. Земля треснула. Мамай со всем своим войском провалился.

Мне на пустом месте что сидеть? Одна головня в печке тухнет, а две в поле шают.

Пароходишко завел да прямиком на Уйму. Товды городов мало было, а коли деревня попадалась, то малость подбрасывало.

Остался у меня на память платок Мамаихин, из его сколько я рубах износил, а жона моя сколько сарафанов истрепала.

Да ты, гостюшко, домой не торопись, у меня погости. Моя баба и тебе рубаху сошьет из Мамаихинова платка. Носи да стряхивай, и стирать не надо, и износу не будет, и мне верить будешь.

МИНИСТЕР И МЕДВЕДЬ

Пошел я на охоту, еды всякой взял на две недели. По дороге присел да в одну выть все и съел. Проверил боевы припасы,— а всего один заряд в ружье. Про одно помнил — про еду, а про друго позабыл — про стрельбу.

Ну, как мне, первостатейному охотнику, домой ни с чем иттить?

Пережидал в лесу до утра.

Утром глухари токовать почали, сидят это рядком. Я приладился — да стрелил.

И знашь сколько? Пятнадцать глухарей да двух зайцев одной пулей! Да ишшо пуля дальше летела — да в медведя: он к малиннику пробирался.

Медведя, однако, не убило, он с испугу присел и медвежью болезнь не успел проделать — чувства потерял! Я его хворостинками прикрыл, стало похоже на муравейник и вроде берлоги.

Глухарей да зайцев в город свез, на рынке продал.

А в город министер приехал. Охота ему на медведя сделать охоту.

Одинова министер уже охотился. Сидел министер в вагоне, у окошка за стенку прятался.

Медведя к вагону приволокли, стреножили, намордник надели. Ружье на подпорку приладили.

Министер-охотник за шнурочек из вагона дернул да со страху на пол повалился. А потом сымался с медведем убитым. В городу евонну карточку видел.

Министер — вроде человека был, и пудов на двенадцать. Как раз для салотопенного завода.

Вот этому «медвежатнику» я медведя и посватал. Обсказал, что уже убит и лежит в лесу.

Ну, всех фотографов и с рынку и из городу согнали, неустрашимость министеровску сымать.

К медведю прикатили на тройках. Министер в троечной тарантас один едва вперся. Вот выташшился «охотник»! А наши мужики чуть бородами не подавились — рот затыкали, чтобы хохотом не треснуть.

Взгромоздился министер на медведя и кричит:

— Сымайте!

А я медведя скипидаром мазнул по тому самому месту. Медведь как взревет благим матом, да как скочит!

Министера в муравьину кучу головой ткнуло. Со страху у министера медвежья болезь приключилась. Тут и мы, мужики, и фотографы городски, и прихвостни министеровски — все впокаточку от хохоту, и ведь цельны сутки так перевертывались,— чуть передыхнем, да как взглянем — и сызнова впокаточку!

А медведь от скипидару да от реву министерского, да от нашего хохоту так перепугался, что долго наш край стороной обходил.

А на карточках тако снято, что и сказывать не стану.

Только с той поры как рукой сняло: перестали министеры к нам на охоту приезжать.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРВОПУТОК

Ишшо скажу, как я в первой раз поехал по железной дороге.

Было это в девяносто... В том самом году, в кольком старосты Онисима жена пятерню принесла, и все парней, и имя дала им всем на одну букву — на «мы». Митрий, Миколай, Микифор, Микита да Митрофан. Опосля, как выросли, разом пять в солдаты пошли. А опосля солдатчины староста Онисим пять свадеб одним похмельем справил.

Так вот в том самом году строили железну дорогу из Архангельского в Вологду.

А наши места, сам знашь,— топь да болото с провалами. Это теперь обсушили да засыпали.

Инженеры в городу в трактирах — вдребезги да без просыпу. В те поры инженеры мастера были свои карманы набивать да пить,— ну, не все таки были, да другимто малу почету было.

По болотной трясине-то видимость дороги сладили и паровоз пустили. Машинист был мой кум, взял меня с собой.

Сам знашь,— всякому антиресно по железному первопутку прокатить.

Свистнули — поехали!

6 Заказ 1452

Только паровоз на болотну топь ступил, под нами засоедало, да тпрукнуло, да над головами булькнуло!

И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Кругом тьма земельна, из паровоза искорки сосвечивают да тухнут в потемни земельной, да верстовы столбы мимо проскакивают.

И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Спереди свет замельтешил.

«Что тако?» — думам.

А там — Америка! Мы землю-то паровозным разбегом наскрозь проткнули да и выперли в самой главной город американской. А там на нас уже расчет какой-то заимели. Выстроили ворота для нас со флагами да со всякими прибасами. И надписано на воротах:

«Милости просим гостей из Архангельского, от вас к нам ближе, чем до Вологды».

Музыка зажариват.

Гляжу, а у ворот американски полицейски. Я по своим знал, что это тако. По сегодень спина да бока чешутся.

Слова никому не сказал. Выскочил, стрелку перевернул, да тем же манером, скорым ходом — в обратный путь.

А железну дорогу, с которой провалились, по которой ехали, веревкой прицепил к паровозу, чтобы американцы к нам непоказанным путем не повадились ездить.

Выскочили на болото. Угодили на кочку.

Паровоз размахался,— бежать ему надобно. Мы его, живым манером, на дыбы подняли. А на двух-то задних не далеко́ уйдешь, коли с малолетства приучен на четырех бегать.

Строительно начальство нам по ведру водки в награду дало, а себе по три взяло.

Паровоз вылез — весь землей улеплен, живого места званья нет.

Да что паровоз! Мы-то сами так землей обтяпались, что на вид стали, как черны идолы.

*

Счистил я с себя землю, в горшок склал для памяти о скрозьземном путешествии. В землю лимонно зернышко сунул. Пусть,— думаю,— земля не даром стоит.

А зернышко расти-порасти да и деревцом выросло. Цвести взялось, пахло густо.

Я кажинной день запах лимонной обдирал, в туесье складывал. По деревне раздавал на квас. В городу лимонной дух продавал на конфетну фабрику и в Москву отправлял,— выписывали. Вагоны к самому моему дому подходили, я из окошка лимонной дух лопатой нагружал да на вагонах адрес надписывал,— разны фабрики выписывали-то.

Года три цвел цветок лимонной, подумай на милость, сколь долго один цветок держаться может!

Прошло время,— поспел лимон, да всего один.

Стал я чай пить с лимоном. Лимон не рву. Ведро поставлю, сок выжму, и пьем с чаем всей семьей.

Так вот и пили бы до самой сей поры. И всего неделя кака прошла,— как моя баба лимон-то сорвала.

У жониной троюродной тетки, у сватьи племянницына подруженька взамуж выдавалась, а до лимонов она страсть охоча. Дак моя-то жона безо всякого спросу у меня сорвала лимон: она как присвоя — свадебничала, на приносном прянике и поднесла невесте.

Видел, в горнице у окошка стоит лимонно деревцо? Оно само и есть. Давай сделам уговор такой: как зацветет мой лимон, я тебе, гостюшко, лимонного запаху ушат пошлю.

ПИСЬМО МОРДОБИТНО

Вот я о словах писаных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, как не живы. Что кто прочитат. Один промычит, другой проорет, а как написано, громко али шепотом, и не знают.

Я парнем пошел из дому работы искать. Жил в Архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одного на побегушках. Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить — нож вострой. Заводчик заставил меня разов десять ходить да свои заработанны клянчить. Всего меня измотал заводчик да напоследок тако́ сказал:

— Молод ты ишшо за работу получать, у меня и больши мужики получают половину заработка, и то не на всяк раз.

Я заводчику письмо написал.

Сижу в каморке и пишу. Слово напишу да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом.

Которо слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит. Я только в сторону увертываюсь. Горячи слова завсегды торопыги.

Из соседней горницы уж кричали:

— Малина, не колоти эк по стенам, у нас все валится, и шшекатурка с потолку падат.

А я размахался, ругаюсь, пишу — руками накрепко слова прихватываю: один конец на бумагу леплю, а другой — для действия. Ну, написал. Склал в конверт мордобитно письмо, на почту снес.

Вот и принесли мое письмо к заводчику. Я из-за двери посматриваю.

Заводчик только что отобедал, сел в теплу мебель,— креслой прозыватся. В такой мебели сидеть хорошо, да выставать из нее трудно.

Ладно. Вот заводчик угнездился, икнул во весь аппетит и письмо развернул. Стал читать. Како слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху али по зубам!

Заводчик из теплой мебели выбраться не может, письмо читат, от боли да от злости орет. А письмо не бросат читать. Слова всяко в свой черед хлешшут!

За все мои трудовы я ублаготворил заводчика до очуменности.

Тут губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался, дак за взяткой явился.

Заводчику и с места не двинуться, кое-как обсказал, что вот письмо получил непочтительно, и кажет губернатору мое письмо.

Губернатор напыжился, для важного упора ноги растопырил, глазишшами в письмо уперся — читат.

Слово прочитат, а слово губернатора — по носу!

Ох, рассвирепел губернатор! А все читат, а слова все бьют и все по губернаторскому носу.

К концу письма нос пухнуть стал и распух шире морды. Губернатор ничего и не видит, окромя потолка. Стал голову нагинать; нагинал-нагинал, да и стал на четвереньки. Ну, ни дать ни взять — наш Трезорка.

Под губернатора два стула поставили. На один губернатор коленками стал, на другой руками уперся и ишшо схоже с Трезоркой, только у Трезорки личность умней.

Губернатор из-под носу урчит:

— Водки давайте!

А голос, как из-за печки. Принесли водки, а носом

рот закрыло. Губернатор через трубочку напился водки и шумит из-под носу:

— Расстрелять, сослать, оштрафовать, арестовать, под суд отдать!

Орет приказы без череду: спервоначалу расстрелять, а опосля уж все остально. Взятку губернатор не позабыл — взял, в коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видал да насмех не поднял.

Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохот,— любо, что попало не одному ему.

Письму ход дали.

Вот тут я в полном удовольствии был!

Дело в суд. Разбирать стали. Я сидел, как посторонной народ. Судья главной старикашка был — ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул и говорит:

— Читай, я уж сыт.

Второй судья пяток слов выдержал и безо всякого разговору третьему судье кинул. А у третьего зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по зубам хлестким словом шшолкнуло. Зубы-то и болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, как забарабанил:

— Оправдать, оправдать, оправдать! На водку дать, на чай дать, на калачи дать!

Я ведь чуть не крикнул:

— Мне, мне! Это я писал!

Одначе смолчал. Судья писанье мое читат, за старо, за ново получат, а с кого взыскать, кого за письмо судить — не знат, до подписи не дочитались. Судейских много набежало и всем попало — кто сколько выдержал слов. Одначе до конца ни один не дочитал. Кабы поумней были, дак сдогадались бы письмо по отдалении поставить и читать через трубу дальнозорну.

Дали письмо читать сторожу, а он неграмотной — темной человек, ну, небитым и остался.

Письмо в Петербург послали всяким петербургским начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое писанье мордобитно не то что простым чинушам,— самим министерам на рассужденье представили. Ну, и по их министерским личностям звездануло за весь рабочий народ!

Чиновники хорошему делу ходу не давали. Подумай сам, како важно изобретенье прихлопнули!

А мне надобно иншо что сделать: покеда есть знать, так писать. Вот и придумал. Написал большу бумагу, больше этой столешницы. Сверху простыми буквами вывел:

«ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ГОСПОДАМ».

А дальше выворотны слова пошли. Утресь ранымрано, иншо городовые пьяных добивали да деньги отбирали,— я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и жду.

Вот время пришло, чиновники пошли, видят: «Читать только господам»,— глаза в бумагу вперят и читать станут, а оттудова их как двинет! А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся и на службу раком ползут.

А которы тоже додумались: саблишки выташшили и машут.

Да коли не вырубить топором написанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать! Позвали пожарну команду и водой смыли писанье мое и подпись мою. Так и не вызнали, кто писал, кто писаньем чиновников приколотил.

Потом говорили, что в Петербурге до подписи тоже не дочитали и письмо мое за городом всенародно расстреляли.

ПОП-ИНКУБАТОР

Поп Сиволдай к тетке Бутене привернул. Дело у попа одно — как бы чего поесть да попить.

Тетка Бутеня в город ладилась, на столе корзина с яйцами. Поп Сиволдай потчеванья, угошшенья да к столу приглашенья не стал ждать: на стол поставлено — значит ешь. Припал поп к корзине и давай яйца глотать, не чавкая. Тетка Бутеня всполошилась:

— Что ты, поп! Ведь с тобой неладно станет, проглотил десяток да иншо две штуки.

— Нет, кума, проглотил я пять, ну, да пересчитывать не стану.

Тетка Бутеня страхом трепешшется, говорит-торопится:

— Поп, боюсь я за тебя и за себя, кабы мне не быть в ответе. Рыгни-ка! Может, недалеко ушло, сколько ни есть обратно выкатятся.

Поп Сиволдай головой мотат, бородой трясет, волосами машет. Жаль ему проглочено отдавать.

— Я сегодня на трои именины зван да на новоселье. Во всех местах пообедаю, ну, и, авось, того, ничего!

Поп на именинах на троих пообедал и кажной раз принимался есть, как с голодного острова приехал. На новоселье поужинал. И на ногах не держится — брюхото вперед перецеплят.

Дали попу две палки подпорами. Ну, Сиволдай подпоры переставлят, ноги передвигат и таким манером до дому доставился, лег на кровать.

А в тепле да в потемни цыплята скоро высиделись. У попа в животе цыплята вывелись, выросли, куры яиц снесли и новых цыплят вывели.

Поп Сиволдай в церкви службу ведет, проповедь говорит:

Мне дров запасите,
Мне сена накосите,
Мне хлеб смолотите,
Мне же, попу же,
Деньги заплатите!

А петухи в поповом животе, как певчие на крылосе, ко всякому слову кричат:

Ку-ка-ре-ку!

Народу забавно: потешней балагана, веселей кинематографа.

Это бы и ничего, да вот для попадьи больно неудобство.

Как поп Сиволдай спать повалится, так в нем петухи и заорут. Они ведь не знают, ковды день, ковды ночь,— кричат без порядку времени — кукарекают да кукарекают.

Попадья от этого шуму сна лишилась.

Тут подвернулся лошадиный доктор. По попадьиному зову пришел, попу брюхо распорол, кур, петухов да цыплят выпустил, живот попу на пуговицы стеклярусны застегнул (пуговицы попадья от новой модной жакетки отпорола).

А кур да петухов из попа выскочило пятьдесят четыре штуки окромя цыплят. Тетка Бутеня руками замахала, птиц ловить стала.

— Мои, мои, все мои! Яйца поп глотал без угошшенья, - значит, вся живность моя!

Поп уперся, словами отгораживатся:

— Нет, кума, не отдам! В кои-то веки я своим собственным трудом заработал. Да у меня заработанного-то ишшо не бывало!

Тетка Бутеня хватила попа и поволокла в свою избу. Попадье пояснила:

— Заместо пастуха прокормлю сколько-нибудь ден.

Дома тетка дала попу яиц наглотать. Поп без лишной проволочки цыплят высидел. Его, попа-то, в другу избу поташшили. Так вся Уйма наша кур заимела.

Поповску жадность наши хозяйки на пользу себе поворотили.

Мы бы и очень хорошо разбогатели, да поповско начальство узнало, зашумело:

— Как така нова невидаль — от попа доход! Никовды этого не бывало. Попу доход — это понятно, а от попа доход — небывалошно дело! Что за нова вера? И совсем не пристало попу живот свой на обчественну пользу отдавать! Предоставить попа Сиволдая с животом, застегнутым на модны стеклярусны пуговицы, в город и сделать это со всей спешностью.

А время горячо, лошади заняты, да и самим время терять нельзя. Решили послать попа по почте. Хотели на брюхо марку налепить и заказным письмом отправить. Да денег на марку,— на попа-то значит,— жалко стало тратить. Мы попу на живот печать большу сургучну поставили, а сзаду во всю ширину написали: доплатное.

В почтовой яшшик поп не лезет, яшшик мал. Мы яшшик малость разломали и втиснули-таки попа. А коли в почтовой яшшик попал, то по адресу дойдет! Только адрес-то не в город написали, а в другу деревню (от нас почтового ходу ден пять будет!).

Думашь, вру? У меня и доказательство есь:

— С той самой поры инкубаторы и завелись.

ПРОПОВЕДЬ ПОПА СИВОЛДАЯ

Поп Сиволдай вздохнул сокрушенно. Народ думал, о грехах кручинится, а поп с утра объелся и вздохнул для облегчения, руки на животе сложил и начал голосом умильным, протяжным, которым за душу тянут.

— Людие! Много есть неведомого. Есть тако, что ведомо только мне, вам же неведомо. Есть таково, что ведомо только вам, мне же неведомо.

Сиволдай снова вздохнул сокрушенно.

— Есть и тако, что ни вам, ни мне неведомо!

Поп погладил живот и зажурчал словами:

— О, людие дороги мои! У меня старой подрясник. Сие ведомо только мне, вам же неведомо.

— О, любезны мои други! Купите ли вы мне материи на новой подрясник шерстяной коричневого цвету и шелковой материи такового же цвету на подкладку к подряснику,— сие ведомо только вам. Мне же сие неведомо.

— О, возлюбленные мои братия! А материя, котору вы купите мне на подрясник, и подкладка к оному подряснику и с присовокупленною к ней материей тоже шерстяной цвета семужьего, с бархатом для отделки подобаюшшей,— понравится ли все сие моей попадье Сиволдаихе — ни вам, ни мне неведомо!

РЕКА ДЫБОМ

Запонадобилась моей бабе самоварна труба: старато и взаправду вся прогорела, из нее огонь фыркал во все стороны. Пошел я в город. Хотя и не велико дело — труба, а все-таки заделье, а не безделье.

Купил в городе самоварну трубу бабе, купил куме, сватье, соседке. Подумал: всем бабам разом понадобятся трубы — купил на всю Уйму. Закинул связку самоварных труб за спину и шагаю домой. День жаркий, я пить захотел. По дороге речка. В обычно время ее не очень примечал, переходил и только. На тот час речка к делу пришлась. Взял я самоварну трубу, концом в воду поставил, другой конец ко рту.

Не наклоняться же за водой в речку, коли труба в руках.

Мне надо было воду в себя потянуть, а я всем нутром, что было силы, из себя дунул!

Речонка всколыхнулась, вызнялась дугой высокой над мокрым дном. Я загляделся и про питье позабыл. Всяко со мной бывало, а тако дело в первой раз. А речка несется высоко над моей головой, струйками благодаренье поет и будто улыбатся, так она весело несет себя! Каки соринки, песчинки были в речке — все вниз упали, сол-

нышко воду просветило, ну будто прозрачно золото на синем небе переливатся!

Вдруг полицейской налетел, диким голосом закричал:

— По какому такому полному бесправу выкинул речку сушить? Я тебя арестую и заставлю штраф платить!

Я под речкой пробежал на ту сторону.

— Ты сперва меня достань, а потом про штраф толкуй!

Полицейской только успел на дно речкино обеими ногами ступить, я речку бросил на землю. Речка забурлила в своих берегах, полицейского подхватила и в море выкинула.

Одним полицейским меньше стало. А мне обидно, что не успел ново дело народу хорошему показать.

В Уйме обсказал мужикам. Словами говорил, руками показывал, а мужики все твердят:

— Да как так? Как река текла, как рыба шла?

Роздал всем мужикам по самоварной трубе, рассказал, что надо делать. Выстали мы по берегу у самого города, трубы в воду поставили одним концом. По моему указу (я рукой махнул) все мужики со всей мужицкой силой разом дунули!

Река и вскинулась над городом дугой-радугой.

Весь ил, весь песок на дно упали. Вода несется, переливатся, солнцем отсвечиват. Рыба вся на виду. Мелка рыбешка крутится во все стороны, крупна рыба степенным ходом вверх по реке идет.

Река одним концом к морю, другим концом к нашей деревне, к Уйме. Которы рыбы жирностью да ростом для нас подходяшши, те сами к нам подходили. Мы их с ласковым словом легким ловом перенимали на пироги, на уху, на засол, на угошшенье хороших людей. В продажу не пускали.

Рыбу нам река дала в благодаренье за проветриванье. Река нам рыбу дарила, а дареным мы не торгуем, а угостить хорошего человека всегда рады.

Городски купцы на мель сели: у которого пароходы, у которого баржи с товаром, у которого лес плотами сплавлялся, а которы около других наживались.

Забегали купцы к начальству с жалобами:

— Сколько нашего богатства в реке пропадат!

Купечески убытки чиновникам не в печаль. Чиновники найдут, что с купцов содрать. А вот рыба в воде

вся на виду, а на речном дне всякого дорогого много накопилось — это чиновники хорошо поняли. Ведь ишшо не было такого дела, чтобы реку с места подымали и богатства со дна реки собирали.

Скорым приказом по берегу стражу расставили. Строго заказали никого на дно не пускать!

На высоки крыши лестницы поставили. Чиновники в реку удочки закидывали. Просто дело для чиновников было ловить рыбу в мутной воде. А в проветренной, солнцем просветленной кака рыба на удочку пойдет? Рыбья мелкота издевательски крутится, а крупна большим размахом хвостом махнет, чиновников-рыболовов водой обольет — и дальше идет.

Чиновники приказы написали, к приказам устрашаюшши печати наставили.

В приказах рыбам были указы: каким чинам кака рыба ловиться должна. С высоких лестниц приказы в реку выкидывали.

Для рыб чиновничьи приказы были делом посторонним.

Приказы с печатями устрашаюшшими на мокро дно падали, грязи прибавляли.

Собрались чиновники на берегу, сговорились, кому како место на дне обшаривать.

Бросились чиновники больши и малы с сухого берега по илистому дну ногами шлепать, руками грязь раскидывать.

Мы, мужики, поглядели и решили: таку грязь, такой хлам оставлять нельзя.

Разом трубы отдернули.

Река пала на свое место, всех чиновников, больших и малых, со всей донной грязью подхватила и в море выкинула!

Без чиновников у нас житье было мирно. Работали, отжились, сытыми стали.

В старо время мы себя сказками-надеждами утешали.

В наше время при обшшем народном согласье и реки с нами в согласье живут. Куда нам надо, туда и текут. И рыбу, каку нам надо и куда нам надо, туда и несут.

МЕСЯЦ С НЕБЕСНОГО ЧЕРДАКА

На военной службе я был во флоте. В морском дальном походе довелось быть на большом корабле.

Шли мы, шли и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет да небо куда-то отодвинули. А в старо бывалошно время дошли мы кораблем до угла, где земля в небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись, в небе дыру пропороли.

Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там — ну, как на всяком чердаке,— хламу разного навалено кучами. Старые месяца держаны, звезды ломаны, мольньи ржавы, громы кучами навалены, грозовы тучи — их я сторонкой обошел. Ну-ко тронь их — что будет?

Хотел было просту тучу взять на рубаху каждоденну, да подходячей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расползатся. Что взять для памяти? Звезду? А что их с неба хватать!

Выбрал месяц, которой не очень мухами засижен, прицепил на себя. Как раз во весь живот пришелся, как по мерке. Шинель застегнул — месяц не видно.

Высунулся с неба, а корабль отошел, до него сразу пропасть стала.

Что делать? Не сидеть же век на небе! Размотал шарф с шеи, распустил его в одну ниточку, кинул вниз и почти до корабля хватило. До палубы не достало какихнибудь верст полтораста. Такой-то кусок пустяшной и скочить не сколь хитро!

Начальство переполошилось, что в небе дыру пропороло, и не заприметило, как я на небо забрался и с неба воротился.

Вечером на поверке я шинель распахнул.

Что тут сталось! Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул. Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже свыше всякой меры.

Командиры забегали, себя руками хлопают, руками машут, кричат мне:

— Малина, не светь!

Я вытянулся, месяцем выпятился и рапортую:

— Никак нет, ваше командирство; не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускную, так свет сам погаснет.

Начальство сейчас написало увольнительну записку домой, печати наставило для пущшей важности. Я шинель запахнул — и свету нет.

А в нос мне всякой пыли с небесного чердака напало: и ветровой, штормовой, грозовой, громовой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой, громом!

Разом корабль к берегу принесло.

В те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновнишко светлы пуговицы нацеплял, а который чином поболе, то всяки блестяшши отметины на себя лепил. У самых больших чиновников все брюхо было в золоте и зад золоченой. Им и спереду и сзаду поклоны отвешивали.

У кого чина не было, а денег много, тот золоту цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.

Я это знал распрекрасно.

Вышел я на берег — и прямо на вокзал, и прямо в буфет. Шинель распахнул, месяцем блеснул.

Все заскакали, закланялись. Ко мне не то — с поклонами, а с присядкой подлетели услужающши и говорят:

— Ах...— и запнулись, не знают, как провеличать,— не хотите ли есть? Вот и выпивка готова!

Я сутки напролет сидел да ел, ел да пил, ел не только досыта — ел до устали.

Как платить запонадобилось, я месяцем сосветил и на поезд пошел. В вагон не полез: в вагоне с месяцем тесно, да и никто не увидит моей нарядности. Сел я на платформу. Меня подушками обложили. Шинель я снял. Ну и сияние пошло! Это для неба месяц был не гож да прошломесячной, а для нас дак очень даже светел.

Светило не с неба на землю, а с земли до неба, и така была светлая ясность, что всю дорогу встречали, провожали с музыкой и пели: «Светит месяц».

Только вот месяц на небе в холоду держался да ветром обдувался, а здесь на земле тухнуть стал — и погас.

В хозяйстве все в дело идет. На том месяце наши хозяйки блины пекут. Как сковородка месяц и великоват, ну да большому куску рот радуется.

В гости приходи — блинами угостим: блины-то каждый с месяц ростом, поешь — верить станешь.

ЛУННЫ БАБЫ

Доняла меня баба руганью. И не пей, и не пой, и работай молчком. Ну, как это не петь, как молчать? У меня и рот зарастет. Работа с песней скорей идет, а разговором от иного дела и отговориться можно.

Тут скочила мне в память стара говоря. Попал дедка в рай, бабка в ад — и рады оба, что не вместе.

Ну, куда ни на есть, да надо от бабы подальше. И придумал убежать на луну. Оттуда и за домом и за бабой присматривать буду.

Для проезда на луну думал баню приспособить, да велика. Обернуться не во что было.

А лететь-то надо паром. Я самоваров пару к себе приладил: один спереду, другой сзаду. Взял запас уголья, взял запас хлеба, другого прочего, чего надо.

Взял бабкину ватну юбку — широченна така, к подолу юбки парусину пришил. Верх у юбки накрепко связал и перевернул. В юбке дыру проделал, в дыру банно окошко вставил. Окошко взял у старой бани, нову портить посовестился.

В ватной юбке сижу, парусиной накрылся, самовары наставил. Самовары закипели. Паром юбка да парусина надулись и вызнялись. И понесло меня изо дня в день, изо дня в день, да скрозь ночь полетел!

Стукнулся на луну, в мягко место попал и не разбился. Угодил в деревню обликом на манер нашей Уймы. Из ватной юбки не вылезаю, только в окошко гляжу, как на луне живут? Гляжу да место для своего жилья выбираю.

Вижу, из белого дому на белой двор зелена баба лунна выскочила, морда у бабы злюшша, зубы острюшши. Гонит баба мужика, что-то ругательно кричит, мужика колошматит то с маху, то наотмашь!

И скорехонько измочалила, видать — дело привышно. Хватила зеленая гребень редкой, вычесала мужика буди лен. За пряжу села, опосля и за тканье взялась — соткала лоскутну помене фартука и на зад нацепила — мужниной памятью утешаться и для обозначения, что, мол, вдова и взамуж охоча.

Я тихим шагом, — в юбке да с двумя самоварами не порато заторопишься! — да так тихим шагом по луне пошел житье да бытье глядеть. Холодно там, все бело,

только бабы лунные от злости зелены, да это и отсюдова видать.

Смотрю, бабы на мужиках землю пашут, на мужиках сидят да хворостиной подгоняют. Дошел до гумна, а там хлеб молотят и опять-таки мужиками. Держит баба мужика за руки али за голову, над своей головой размахнет да как цепом и вдарит. Бабы норовят молотить мягким местом, а мужики норовят пятками стукнуть.

Худо мужиково житье на луне! Правов у мужиков никаких нету. Жонки над ними выхаживаются, как придумают. Мужиков в щепы шшиплют, из мужиков веретено точат. С мужиков лыко дерут. Лунны бабы быкову трубу плетут. Уж длинную выплели, хотят ишшо длинней выплести, а для этого виновных мужиков надо извести. Как выплетут до большого конца, так на землю нашим бабам прокричать хотят лунны жонки, как над мужиками верх взять, мужиков в смирность привести и чтобы по бабьей указке все делали и по бабьей дудке плясали.

Я решил, что для нас это не подходяшшо, и на луне я жить расхотел.

Гляжу — лунны жонки гулянкой идут, и у всякой на заду да на переду навешаны лоскутины из мужиков тканые, да не по одному — по пять да по десять висит. Жонкам и тепло, и нарядно, а каково мужикам?

Увидали меня лунны бабы зелены и заподскакивали и завывертывались. То круглы, как месяц полнолунной, то тонехоньки обернутся, как месяц на ущербе. Это меня подманивают, то толстостью, то тонкостью пондравиться хотят. А меня от них в оторопь бросат, лихорадкой трясет.

Я маленькими шагами ушагиваю от лунных баб подале, из самоварных труб искрами сыплю, подступу не даю.

Вижу, лунны жонки, зелены рожи, каку-то машину ко мне прут. Жернова в разны стороны поворачиваются. К жерновам мельничьи розмахи прилажены. Розмахи, как руки, размахались, меня зацепить норовят.

Кабы не самовары, тут и конец бы мой пришел. Молодцы самовары! Как раз в пору закипели. Я самоварной кран из юбки высунул, на лунных баб кипятком прыснул. Да круто повернулся, меня на землю в обратный ход понесло.

Только успел заприметить, что зеленые жонки от теплой воды осели и присели. Видел, как лунны мужики

на лунных баб уздечки накинули, сели да поехали поле пахать да всяку первоочереднy работу справлять.

Меня несет, меня несет! Из ночи в ночь, из ночи в ночь! Домой прилетел как раз поутру.

Тут меня ждут. Чиновники думают, не привез ли золота, руки ловчат отнять. Поп ждет, чтобы узнать, на котором я небе был? И ему все обсказал, пока помню. Ждут полицейски урядники, чтобы арестовать да оштрафовать.

Ждут, на дороге и место налажено, приманкой стакан водки да огурец с селедкой положены. Моя жона окошки в избе настежь отворила, мне на лету и видно, что она напекла, наварила, а водки четвертна на столе.

Народушку сбежалось меня глядеть множество, от народу темно кругом. Глядят во все глаза, как увернуться? А увернуться беспременно надобно. Меня затолкают, из ума вышибут, от полицейского допросу, от поповского распросу, коли жив останусь, то в суд поведут, под штраф подведут.

Я самоварной кран из юбки выставил, горячу воду пустил, а сам верчусь, кручусь, разбрызгиваюсь.

Народ, кто успел, в сторону шарахнулся, кто не успел, те подолами да пиджаками накрылись, полицейски в шинельки завернулись.

Я той порой от дороги в сторону, на огород за баню. Чтобы не стукнуться, самоваров не примять да кипятком не ошпариться, у меня к ногам раздвижна тренога прицеплена, мне ее для этого дела дал проезжий сымальщик-фотограф. Я треногу вытянул, в землю ткнулся. Ноги одна в одну, одна в одну — и стоп!

Я на землю. Из юбки выпростался, самовары трубами в разны стороны поставил, в самоварах мешаю, искры пушшаю. Народ, как от окрика, осадил.

Я так возврату на землю обрадел, что с жоной наскоро обнялся. Жона меня лопухами прикрыла, еды да питья принесла. Я за землю держусь крепко, ем да запиваю, выпиваю да закусываю, промеж лопухов смотрю, что творится около да в избе.

Моя баба самовары долила, на стол поставила, юбку ватну да парусины на другой стол положила. Сама баба моя плачет, заливатся и причет ведет:

Ох, соседушки, сватьи, кумушки!
Вы мово слова послушайте,
Да совет мне посоветуйте,



Как теперь зватися мне —
Вдовой али мужней жоной?
Муженек мой разлюбезной, ягодиночка,
Спела ягодка малиночка,
Остался на холодной луне одинешенек!
Скоро ль ночка настанет,
С неба мужнин глазок ласково глянет!
Век прожила — с тучами не спорила.
Теперича тучи будут разлучницами!
Закроют от меня ясной месяц,
Муженька любимого!
Уж вы, жоночки, подруженьки,
Скажите-ко тучам тем,
Пусть закроют от меня белой день,
Пусть оставят мне ясну ноченьку!
Не обнять не мужа милого,
Дак погляжу на луну
Мужу в ясны оченьки!
Как остатной привет,
Послал мне муж юбку,
Ватну юбку теплую,
Не согреет меня сам
Мой сокол летный!

Столь ласково, столь жалостливо жона песней-причетом льется, что я носом фыркнул, пирог с морошкой доел и заревел. Реву, что один без жоны остался на луне. От жониного плачу и я поверил, что там на луне сижу, позабыл, что на огороде под лопухами водку заедаю шаньгами.

Гляжу, а поп Сиволдай с урядником секретной разговор произвели, ватну юбку объявили юбкой с первого неба, юбку на палку нацепили, лентами обвязали, цветами облепили и по деревне понесли.

Народ в те поры вовсе глупой был, попу да уряднику денег полны карманы наклали. Поп с урядником и по другим деревням юбочной ход сделали.

Городски попы это дело вызнали, архиерею рассказали. Архиерей говорит:

— Деревенски глупы, городски не умней, что тем, что другим — было бы погромче да почудней! Деньги сыпать станут,— только карман растопыривай!

Ты вот думашь — я все вру, а впрямь тако время было! «Что со мной сделали?»

Да ковды дело дошло до доходу, про меня позабыли!

КАК Я ЧИНОВНИКОВ ПОТЕШИЛ

Городско начальство стало примечать — изо всех деревень, и ближних, и дальних, мужики да жонки в город приезжают сердиты, а из Уймы все с ухмылочкой,— вроде как все веселы. Что за оказия така? Все деревни одинаково под полицейскими стонут, а уемски все с гунушками, а то и смехом рассыплются, будто вспомнят что.

Дозналось начальство. Да наши деревенски сами рассказали: не велик секрет, не наложен запрет.

— Дело,— говорят,— просто. Наш Малина веселы сказки плетет, песни поет. Порой мы не знам, где правду сказыват, где врать начинат — нам весело, мы смехом и обиду прогоням и усталь изживам.

Дошло это до большого начальства. Большое начальство затопоршшилось:

— Как так смешно да весело мужикам, а не нам? Подать сюда Малину! И во всей скорости!

Набрал я всякой еды запас на две недели, пришагал в город к дому присутственных мест, стал по переду дома, дух вобрал да гаркнул полным голосом:

— Я, Малина, явился! Кому нужен, кто меня требовал, кто меня спрашивал?

Да так хорошо гаркнулось, что в окнах не только стекла — рамы вылетели, в присутственных палатах столы, стулья, шкапы с бумагами подбросило, чиновников перекувырнуло и мягким местом об пол припечатало.

Худо бы мне было от начальства за начало такое, да губернатора на месте не было, он по заведенному положению поздней всех выкатился. Поглядел губернатор на перевернутость всю и на чиновников, как те ушибленны места почесывают, а встать-подняться не могут.

Губернатор под мой окрик не попал, а на других глядеть ему весело, он и захохотал.

Чиновникам и больно и обидно, а надо губернатору вторить. Они и захихикали мелким смехом.

Губернатор головы не повернул, а мимо носу, через плечо, наотмашь стал слова бросать:

— Вот за этим самым делом, Малина, я тебя призвал, чтобы ты меня и других чиновников важных уважил-смешил. Сейчас ты меня рассмешил. Ты, сиволапый, долго ли можешь нас, больших людей, смешить?

— Да доколе прикажете!

— Ну, ну! Мы над мужиком смеяться, потешаться устали не знаем, нам это дело привышно. Потешай, пока у тебя силы хватит. Загодя скажу — ты скорей устанешь, чем мы смеяться перестанем.

Для хорошего народу трудяшшого, работяшшого сказки говорю спокойно, где надо — смеху подсыплю — народ заулыбатся, рассмеется и дальше опять в спокое слушат. В меру смех — в работе подмога и с едой пользителен.

А чиновников что беречь?

Сердитость свою я убрал, чтобы началу не мешала, сделал тихо лицо, тако мимоходно. Начал тихо, а помалу да помалу стал голосу прибавлять, а смех-то сыпал с перцем, да с крупно толченым, несуразицей подпирал, себя разогнал, ну, и накрутил.

Губернатор взвизгиват, животом трясет, чиновников скололо, руками отмахиваются, значит, передышки просят.

Я смотрю, чтобы смех не уминался, чтобы смех не убывал. Завернул я большой смех часа на три, а сам в ту пору сел, поел, питья да выпивки велел из трактира принести и на губернаторской счет записать.

Три часа проходят, я ишшо слов пять сказал, как пару поддал и опять чиновники от хохоту — в круги да впокаточку.

Мне что? Больше смеются — больше смешить стал. Я чиновников-издевательшшиков смехом крепко крутонул, а сам по городу пошел — разны дела делал, порученья деревенски справлял.

Время к вечеру пришло. Мне спать пора. Я такое загнул, что губернатор всю ночь глоткой ухал, а чиновники тонким визгом завились.

На другой день я всю сердитость накопленну в ход пустил. И не только словами смешил, потешал, а и руками и ногами всяки кренделя выделывал — это словам на подмогу, как гармонь к песне. Из присутственных мест из разных палат смех да хохот громом летел по городу. Городска беднота только ежилась.

— Опять на нас каку-то напасть выдумывают. Опять шкуру драть ладятся. Такой упряг времени хохочут-грохочут. Семь шкур содрали — восьму содрать хочут.

Чиновники остановиться смеяться не могут. Глянут друг на дружку — их как ременкой подстегнет на новой смех. Через столы переваливаются, по полу катаются.

Каждому смешно, что не он один в такое дело попал. И до того досмеялись, что мелки чиновники только ножками дрыгали да икали, а губернатор только булькал да пузыри пускал.

Чиновники народ был хилой, мундирами держались, а смеяться, надсмехаться над мужиками да над простым народом были сильны. Неделю смеху выдержали и только второй недели не дотянули — извелись, а губернатор лопнул.

ИНСТЕРВЕНТЫ

Ты вот, гость разлюбезной, про инстервентов спрашивашь; не охоч я вспоминать про них, да уж расскажу.

Ну, вот было тако время, понаехали к нам инстервенты, да и инстервенток привезли, — тьфу!

Понимали, видать, что заскочили на одночасье, и почали воровать вперегонки.

Как наши бабы стирано белье для просыху повесят, вышиты рубахи, юбки, спичники, — так тою ж минутой инстервенты все сопрут. И перечить не моги!

По разным делам расстервенились инстервенты на нашу деревню и всех коней угнали. Хошь дохни без коней! Сам понимашь, как без коня землю обработать? Тракторов в те поры не было, да и были бы, дак и трактора угнали бы инстервенты.

Меня зло взяло: коня нет, а сила есть.

Хватил телегу и почал кнутом огревать!

Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла!

Я на ходу соху прицепил, потом борону. Вспахал всю землю, некогды было разбирать, котора моя, котора соседа, котора свата али кума, — всю под одно обработал да засеял и все в один упряг. Да ишшо все огороды справил. Телегу я смазал досыта и поставил для передыху.

Вдруг инстервенты прибежали, от горячки словами давятся, от злости на месте крутятся. Наши робята в хохот, на их глядя. Инстервенты из себя лезут вон, истошными голосами кричат:

— Кто землю разных хозяв под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора!

Мы телегу вытаншили.

— Вот она виновата, ейна проделка.

Инстервенты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул: знай, мол, што надо делать.

Телега лягнула, оглоблями размахнула, инстервентов которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать!

Я — за телегой: как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгонят.

В городу начальство инстервентско на соборной площади собралось, все в голос кричат:

— Арестовать! Расстрелять! Колеса снять!

Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Инстервенты — на землю, а которы не успели опрокинуться, у тех скулы трешшат. Работала телега за всю Уйму!

Инстервенты сабли достали, из пистолетов палят, да куды им супротив оглобель!

Я за угол дома спрятался и все вижу; и увидал: волокут пушки большушши, в телегу палить ладят.

Я закричал из-за угла:

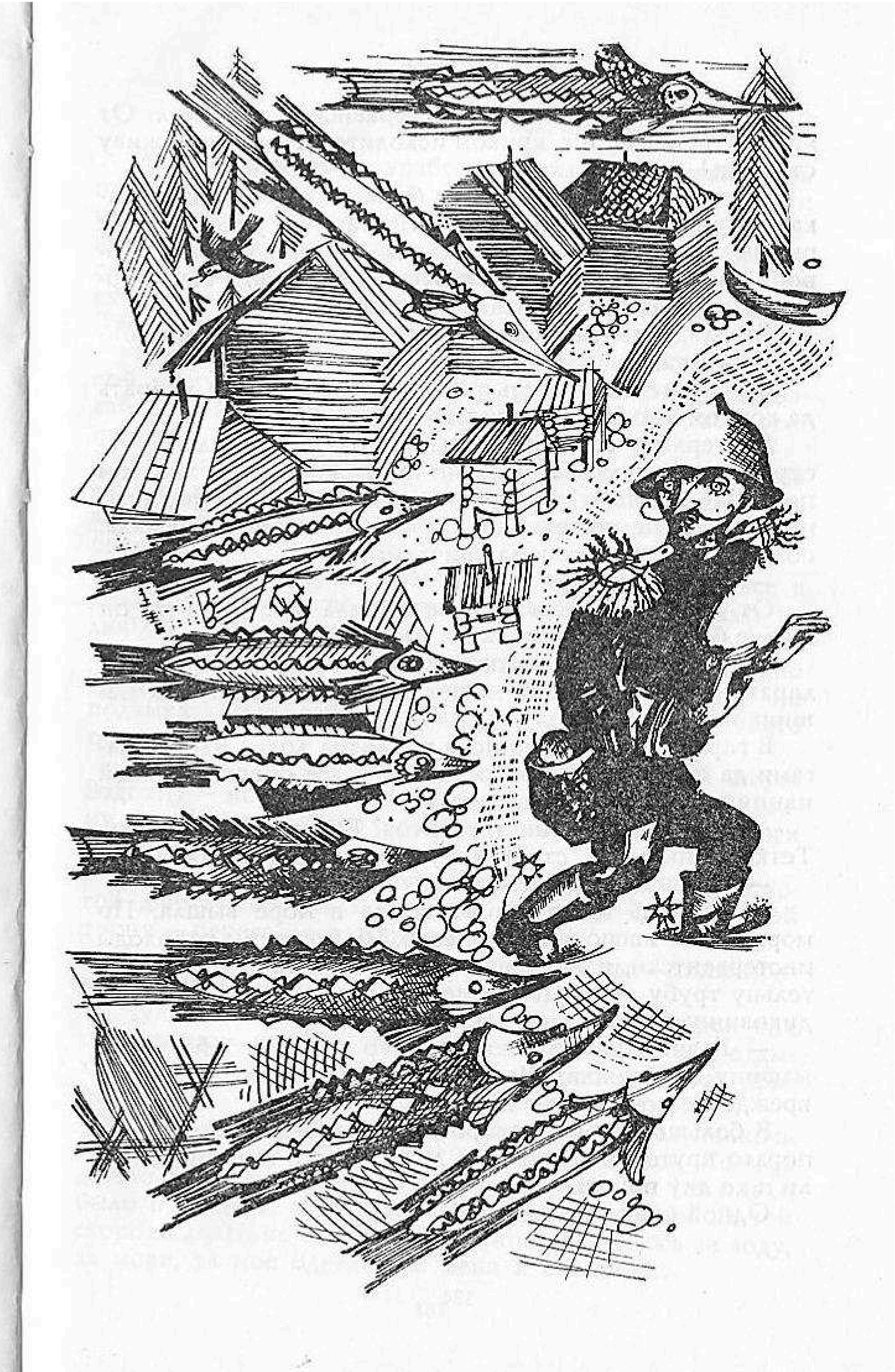
— Телега! Ты нам нужна! Как мы без тебя? Телега, телега, выворачивайся как-нибудь!

Телега услыхала, оглоблями пушше замахала, а сама к берегу к воде пятится. Пароходы, что за реку в деревни бегают, да буксиры,— народ, наш рабочий брат,— увидали, что телега в эком опасном положении, пароходы на выручку заторопились. Пароходы по воде — вскачь! К месту происшествия прибежали, задами повернулись, кормы приподняли, винтами воду на берег пустили. Инстервентов обмочили, пушки водой залили, пушки и палить не могут. С инстервентов форс смыло, и такой у них вид стал, что срам глядеть. Жонки, которы из деревни, подолами прикрылись, а городски — зонтики растопырили и зонтиками загородились.

Пароходы телегу на мачты подхватили. Я успел, на телегу сел. Пароходы свистками марш завысвистывали и привезли телегу домой целехоньку.

Мы телегу в другой двор поставили для сбереженья от инстервентов. У телег отлика не велика,— поди, распознай, котора воевала?

Тебе скажу по дружбе, котора телега: как в Уйму придешь, и считай четырнадцатой дом от краю,— у повети стоит телега,— та сама.



СТЕРЛЯДЬ

Ко мне в избу генерал инстервенской заскочил. От ярости трепешшется, криком исходится. Подай ему живу стерлядь!

У меня только что поймана была, не сколь велика, такая — аршина с три с гаком. Спрятать не успел, держу рыбину под мышкой, а сам трясусь, коленки сгибаю, оторопь проделываю, быдто уж очень я пужлив, а сам стерлядь тихонечко науськиваю.

Стерлядь, ты сам знаешь: с головы остриста, со спины костиста.

Вот инстервент пасть разинул, штобы дыху набрать да криком всю Уйму напугать.

Я стерлядь ему — в пасть! Стерлядь скочила и наскрозь проткнула. Головой по ногам колотит, а хвостом по морде хлешшет! Генерал инстервенской ни дыхнуть, ни пыхнуть не может. Стерлядь его по деревне погнала, солдаты фрунт делали да кричали:

— Здравье желам!

От крику стерлядь пушше лупила инстервента, он шибче бежал.

Стерлядь в воду — и пошла мимо городу, инстервент лапами всеми четыреми машет, воду выкидыват, как машина кака.

В городе думали, что нова подводна лодка идет. Флагами да свистками честь отдавали и все спорили, какой нации новой водяной аппарат?

А как распознать инстервентов? Все на одну колодку. Тетка жоны моей, старуха Рукавичка, сказывала:

— Не вызнать даже,— кто из них гаже!

А стерлядь мимо Маймаксы да в море вышла. По морю к нам ишшо напасть несло. Шли военны пароходы инстервентски, и тоже нас грабить. Увидали в подозрительну трубу стерлядь с генералом, думали — мина кака диковинна на них идет, закричали:

— Гляньте-ко: русски каку-то смертоубийственну машину придумали! Мы за чужим идем, но в самоповрежденье попадать не хотим.

В большом страхе заворотились в обратну дорогу, да порато круто заворотились: друг дружке боки проткнули и ко дну пошли.

Одной напастью меньше!

СПЛЮ У МОРЯ

Анне Константиновне Покровской

День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — дерева мешают, как повернешься, так в пень, али во ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — тоже спанье не всласть. Кусты да бугры помеха больша.

Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонькой. Берег скатыватся отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!

Под голову подушкой камень положил (один — на двух подушках не сплю, пуховых не терплю: жидкими кажут). На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.

Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полну меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.

И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидат.

Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.

Сплю, как спится после большой работы,— сплю полным отдыхом, молча, без переверта.

Чую, кто-то окутку с меня стягиват. Поперек сна соображаю: что за забаву нашел кто-то сну-отдыху мешать? Я проснулся вполпросыпа. Глаза приоткрыл.

А это солнце. Оно к воде подошло. Время полночь была, вода золотым одеялом на мне светилась. Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват (ему надо было поглядеть, все ли там в порядке), а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилось за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.

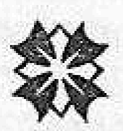
Я за воду, за край ухватился — тут межень прошла; вода прибыла — я море опять на себя натянул: мне поспать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

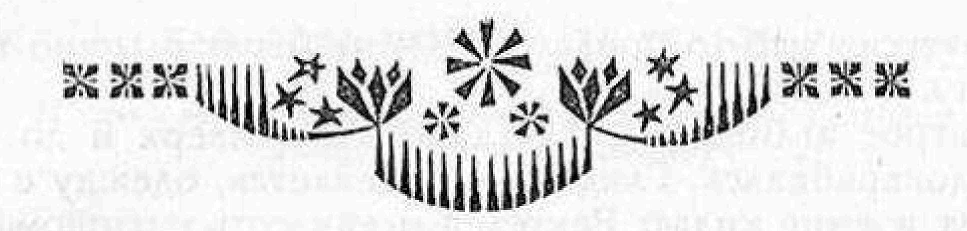
Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу: один в море не хозяин. Кабы в тогдашно время мог я с товаришшами сговориться, дак мы бы всем работяшшим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкаюшших трудяшшими, мешаюшших налаживать жизнь в обшшем согласье.

Да это ишшо впереди.

Теперь-то мы сговоримся.







СОЛОМБАЛЬСКА БЫВАЛЬЩИНА

В бывалошно время, когда за лесом да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили,— в Соломбале в гавани корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. Снасти на мачтах кружевьем плелись. Гавански торговки на разных языках торговаться и ругаться умели.

В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана с аглицким. Спорили о матросах: чьи ловчей? Агличанин трубкой пыхтит, деревянной мордой сопит:

— У меня есть такой матрос ловкач, на мачту вылезет да на клотике весь разденет себя. Сышшется ли такой русский матрос?

Наш капитан спорить не стал. Чего ради время напусто тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал:

— Все.

Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать.

И вот диво — радии не было, телефону не знали, а на всю округу известно стало о капитанском споре и сговоре.

В воскресенье с самого утра гавань полна народом. Соломбальски, городски, из первой, второй и третьей деревень прибежали. Заречны полными карбасами ехали, наряды в корзинах на отдельных карбасах плавили. Наехали с Концов и с Хвостов — такие деревни живут: Концы и Хвосты.

От народу в глазах пестро, городски и деревенски вырядились вперегонки, всяка хочет шире быть, юбки накрахмалили, оборки разгладили. Наряды громко шуршат, подолы пыль поднимают. Очень нарядно.

Мужики да парни гуляют со строгим форсом — до обеда всегда по всей степенности, а потом... Ну, да сейчас разговор не о том!

Дождались.

На кораблях команды выстроились. Агличанин сво-

ему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только: «г а у, г а у!»

Матрос аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядим — раздевается, одежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся и как есть нагишом весь слез на палубу и так голышом перед своим капитаном стал и тоже что-то: «г а у, г а у!» Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть.

Городски зонтиками загородились, а деревенски подолами глаза прикрыли.

Наш капитан спрашиват агличанина:

— Сколько у тебя таких?

— Один обучен.

— А у нас сразу все таки.

Капитан с краю двух матросов послал на фок-мачту и на бизань-мачту.

А тут кок высунулся поглядеть. Кок-то этот страсть боялся высокого места. На баню вылезет — трясется. Вылез кок и попал капитану под руку. Капитан коротким словом:

— На грот-мачту!

Кок струной вытянулся:

— Есть, на грот-мачту!

Кок как бывалошным делом лезет на грот-мачту. Смотрю, а у кока глаза-то крепко затворены.

На фок-мачте, на бизань-мачте матросы уж на клотиках и одежу с себя сняли, расправили, по складкам склали, руками пригладили, ремешками связали. На себе только шапочки с ленточками оставили, это чтобы рапорт отдавать — дак не к пустой голове руку прикладывать!

Коли матросы в шапочках да с ленточками — значит, одеты, на них и смотреть нет запрета.

А кок той порой лезет и лезет, уж и клотик близко, да открыл кок глаза, оглянулся, у него от страху руки расцепились и полетел кок!

Полетел да за поперечну снасть ухватился и кричит агличанину:

— Сделай-ка ты так!

Агличанин со страху трепешшется, головой мотат, у него зубы на зубы не попадают, он что-то гаукат.

Аглицкой капитан рассердился, надулся:

— Как так, аглицкого матроса надобно долго обучать, а русски отроду умеют и даже ловче?

КАК СОЛЬ ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ

(Сказку эту я слышал от Варвары Ивановны Тестовой в деревне Верхне-Ладино)

Во Архангельском городу это было. В таку дальну пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с прабабками не припомнить году-времени. Мы только со слов на слова кладем да так и несем: которо растрясется, которо до записи дойдет.

Дак вот жил большой богатой человек. Жил он лесом, в разны заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына. Старшой да среднёй хорошо вели дело: продавали, обдували, считали, обсчитывали и любы были отцу.

Младшему сыну торговля не к рукам была, ему бы песней залиться да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-нековды оследиться. Все с компанией развеселой время вел — звали этого молодца Гулёна. Парень ласковый, обходительной, на поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел.

Задумал большой человек сбыть парня Гулёну. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом-товаром в заграницы.

Старшому (а был тот ледяшшой, худяшшой, до чужого жадный, загребушшой), ему отец корабль снарядил дубовой, паруса шелковы, лес нагрузили самолутчей, первосортной.

Второй был раскоряка толстенной, скупяшшой-перескупяшшой. Про себя хвалился: «у скупа не у нега», а от его никто не видал ничего.

Этому второму корабль был дан сосновой, паруса белополотняны, лес — товар второсортной.

А третьему, развеселому, снарядил отец посудину разваляшшу и таку дыряву, что из дыры в дыру светило, а вода как хотела, так и переливалась, рыбы всяки как на постоялой двор заходили, уходили.

В этой посудине пряма дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет.

А товар нагружен насмех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом — старой половик.

Никудышно судно снаряжено, товар никудышной нагружен. Вот как Гулёну на борт заманить?

Придумал богач тако дело: по борту разваляшшего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельну четвертну. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно.

Увидал Гулёна развеселый груз на суденышке, созвал, собрал своих приятелев собутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели:

Мы попьем, попьем,
Мы по морю сгуляём.

Отдали концы корабли и суденышко в одно время в одну минуту. Ледяшшой худяшшой да раскоряка толстяшшой большим передом опередили Гулёну и в море вышли. А Гулёна с товаришшами-приятелями чуть двигаются, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятой день девяту версту. Водку выпили, в море выплили. А тут развернулась погодушка грозной бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились.

Гулёна за борт выкинул горбыли, обрезки да стары кокоры. Порожно суденышко на воде, как чайка, сидит да по волнам летит. Гулёне с товаришшами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!

Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой улеглось.

Видит Гулёна: по переду судна на воде что-то очень белет и блестит, белет и сверкат и похоже на остров. Гулёна суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был.

Ну, мешкать не стали, дыры сквозны законопатили, соли нагрузили. Попутна вода да поветерь в заграницу суденышко пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют.

Люди заграничны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили.

Взял Гулёна малой мешок соли и пошел по городу. В городу, в самой середине, царь жил. У царя гостьба была, понаехали разны цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговоры говорят, всяк по-своему.

Гулёна зашел в кухню. Сначала обсказал: кто и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал:

— Нет, экой невкусности ни царь, ни гости царикороли есть в жизнь не станут!

Гулёна говорит:

— Улей-ко в чашку штей!

Повар налил, Гулёна посолил.

— Отпробуй теперича.

Повар хлебнул да ишшо хлебнул, да и все съел.

— Ах, како вкусно! Я распервеюшшой повар, а эдакого не едал!

Гулёна все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают больши блюда, по пяти человек несут, а добавошны к большим кажной по одному ташшит, а добавошных-то блюдов по полсотни.

Мало погодя в кухню царь прибежал, кусок дожевыват и повару кричит:

— Жарь, вари, стряпай, пеки ишшо, гости все съели и есть хотят, ждут сидят. И что тако ты сделал, что вся еда така приятна?

— Да вот человек приехал из Архангельского городу и привез соль.

Царь к Гулёне:

— Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтобы мне одному всю продать! Други-то цари-короли еду с солью попробовали, им без соли ни быть ни жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным.

Гулёна отвечат:

— Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором. Чтобы вы, цари-короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зариться, на этом слово дай. Второ мое условие: снаряди корабль новой из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие — дочь взамуж за меня отдай, а то соль обратно увезу.

Царь согласился без раздумья. Делать все стал без промедленья.

Скоро все готово. Корабль лакированной блестит, паруса златотканы огнем светятся.

Гулёна сам себе сватом к царской дочери с разговором:

— Что ты делать умешь?

— Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать.

— Дело подходяшшо, объявляю тебя своей невестой!

Девка глаза потупила, сама заалела.

— Ты, Гулёна, царям-королям на хвосты соли насыпал, за это да за самого тебя я иду за тебя!

Пир-застолье отвели.

Поехали. Златотканы паруса горят: как жар-птица летит.

Оба старши брата караулили Гулёну в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать.

Тут спокойно море забурлило, тиха вода зашумела, вкруг Гулёниного корабля дерево забрякало, застукало. Все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки да стары кокоры столпились у Гулёнина корабля, Гулёне, как хозяину, поклон приветной отдали да поперек моря вызнялись. Гулёнин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили.

Море долго трепало и загребушшего и скупяшшего. Домой отпустило после того, как Гулёна житье свое на пользу людям направил.

Время сколько-то прошло. Слышит Гулёна, что царь, которой соль купил, войну повел с другими царями. Гулёна ему письмо написал: что, мол, ты это делашь да думашь ли о своей голове? Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слово не держишь? Царски ваши солдаты раздерутся да на вас, царей, обернутся.

Царь сделал отписку, послал скору записку. Написана на бумажном обрывке и мусленым карандашом:

— Я царь — и слову своему хозяин! Я слово дал, я вобратно взял. Воля моя. Мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан.

Малы робята и те понимают — кому закон не писан.

НА КОРАБЛЕ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ

(Слышал у Малины)

Я вот с дедушкой покойным (кабы был жив — поддакнул бы) на корабле через Карпаты ездил.

Перва путина все в гору, все в гору. Чем выше в гору, тем больше волны.

Экой качки я ни после, ни раньше не видывал.

Вот простор, вот ширь-то! Дух захватыват, сердце замират и радуется.

Все видно, как на ладони: и города, и деревни, и реки, и моря.

Только и оставалось перемахнуть и плыть под гору с попутным ветром. Под гору завсегды без качки несет. Качат, ковды вверх идешь.

Только бы нам, значит, перемахнуть, да мачтой за тучу зацепили. И ни в ту, ни в ну.

Стой, да и все тут.

Дедушка относа боялся главне всего. А ну как туча-то двинет да дождем падет? Эдак и нам падать приведется. А если да над городом да днишшем-то угодим на полицейску каланчу али на колокольню?

Днишше-то прорвет, а на дырявом далеко не уедешь.

Послал дедушка паренька,— был такой, коком взяли его, и плата коку за навигацию была — бочка трески да норвежска рубаха.

Дедушка приказ дал:

— Лезь, малец, на мачту, погляди, что оно там нас держит? Топор возьми; коли надобно, то у тучи дыру проруби али расколи тучу.

Парень свернулся, провизию забрал, сколько надо: мешок крупы, да соли, да сухарей.

Воды не взял: в туче хватит.

Полез.

Что там делал? Нам не видно. Чего не знаю, о том и говорить не стану, чтобы за вранье не ругали.

Ладно.

Парень там в туче дело справлят и что-то на поправку сделал. И уронил топор.

Мачты были так высоки, что топор, пока летел, весь изржавел, а топоришшо все сгнило. А мальчишка вернулся стариком. Борода большушша, седа!

Но дело сделал,— мачту освободил.

Дедушка команду подал:

— Право на борт! Лево на борт!

Я рулем ворочаю. Раскачали корабль. Паруса раскрыли. Ветер попутной дернул, нас и понесло под гору.

Мальчишке бороду седу сбрили, чтобы старше матери не был, опять коком сделали.

И так это мы ладно шли на корабле под гору, да что-то под кормой зашебаршило.

Глянули под корму,— а там мезенцы морожену навагу в Архангельск везут!

ЗА ДРОВАМИ И НА ОХОТУ

(Старинная пинежская сказка)

Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.

Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на возу дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и — давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.

Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню,— куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.

Ехал-ехал да и заспал. Долго ли спал — не знаю.

Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?

Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толщиной.

Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором,— Карьке ногу отрубил.

Поскорей взял серы еловой свежой и залепил Карькину ногу.

Сразу зажила!

Думашь, я вру все?

Подем, Карьку выведу. Посмотри, не узнашь, котора нога была рублена.

КАК ПОП РАБОТНИЦУ НАНИМАЛ

(Пинежская сказка)

Тебе, девка, житье у меня будет легкое,— не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, ну, как подобат,— до свету. Избу вымоешь, дров уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь и

спи — отдыхай!

Завтрак состряпашь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь —

спи — отдыхай!

В поле поработашь, али в огороде пополешь, коли зимой — за дровами али за сеном съездишь и —

спи — отдыхай!



Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты —

спи — отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и —

спи — отдыхай!

Коли время подходяче,— в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу — рукой подать, и восьми верст не будет, а потом —

спи — отдыхай!

Из города прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты —

спи — отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, попоишь, корм задашь и —

спи — отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты —

спи — отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь,— это к завтрему, и —

спи — отдыхай!

Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь — проотдыхашь — во что ночь-то будешь спать?

Ночью попрядешь, поткешь, повышивашь, пошьешь, и опять —

спи — отдыхай!

Ну, под утро белье постирашь, которо надо — поштопашь да зашьешь и —

спи — отдыхай!

Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев. Богатейкой станешь!

КАК ПАРЕНЬ К ПОПУ В РАБОТНИКИ НАНЯЛСЯ

Нанялся это парень к попу в работники и говорит:

— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.

— На что тебе деньги? (Это поп говорит.)

Парень отвечат:

— Сам понимашь, каково житье без копейки.

Поп согласился:

— Верно твое слово,— како житье без копейки!

Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и

посылат на работу. Дело было в утрях. Парень попу:

— Что ты, поп, где видано не евши на работу иттить!

Парня накормили и — опять гнать на работу. Парень и говорит:

— Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, чтобы пишша на место улеглась.

Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.

— На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обеденно пришло, дак обедать сади.

Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят:

— Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено — тако положенье: опосля обеда — отдыхать.

Лег парень и до потемни спал. Поп будит:

— Хошь теперича иди поработай!

— На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за ужну садятся да спать валятся. То и мне надоть.

Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полден. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужну проспал. К ужину явился, наелся. Поп и говорит:

— Парень, что ты сегодня ничего не наработал?

— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и приматься не стоит.

Поп весь осердился, парня вон гонит:

— Мне экого работника не надобно. Уходи от меня!

— Нет, поп, я хошь и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, уйду. Ежели хлеба дашь ден на десять.

ЛЕНЬ ДА ОТЕТЬ

(Старинная пинежская сказка, коротéнька)

Жили были Лень да Отеть.

Про Лень все знают: кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень — она прилипчива: в ногах путатся, руки связыват, а если голову обхватит,— спать повалит.

Отеть Лени ленивей была.

День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало.

Лежали под яблоней Лень да Отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят.

Лень и говорит:

— Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе говорить-то не лень?

Упали яблоки Лени и Отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?

Надвинулась темна туча, молнья ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем. Жарко стало.

Лень и говорит:

— Отеть, сшевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся.

Стала Лень чуть шевелить себя, далеконько сшевелилась.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?

Так Отеть голодом да огнем себя извела.

Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска, лоскутка. А как лень изживем — счастливо заживем.



СЛОВАРЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Андели — ангелы

Баситься — красоваться, охорашиваться

Бизань-мачта — задняя, меньшая мачта на парусном корабле

Бýди — будто

В гал — в лет, вверх, с подскоком (ср. выгалить)

Взáболь — вправду, на самом деле

Взáбольшной — настоящий

Воймýю — внимаю, слышу

Втóра (в выражении: «Что за втора!») — чудо, напасть

Взняться — подняться в воздух

Выгалить — выпрыгнуть, подняться вверх

Выть — прием пищи; в одну выть — в один присест

Грот-мачта — средняя мачта на парусном корабле

Другомя́ — иначе

Жилье — этаж, ярус постройки

Жито — ячмень

Зажилье — место за деревней

Кажут — выглядят

Клотик — закругленный набалдашник на конце мачты

Маловодны — шутливо: миловидны

Маловытное — малоземельное

Межень — низший летний уровень воды в море, реке

Натодельный — искусный

Нать — сокращение от «надоть, надобно»

Обрядня — женское хозяйствование по дому, хлопоты у печи

Обряжаться — управляться у печи, стряпать

Окомы — плуты, неслухи

Отеть — высшая степень лени

Отнимки — ухваты

Парусоль — зонтик

Пáужна — еда между обедом и ужином, полдник

Пóветерь — попутный ветер

Поветь — сеновал, навес, чердак холодного дворового строенья.

Порáто — очень, сильно

Пóрочка — деревянная шайка, черпак с длинной ручкой

Посторóнок — печная заслонка, вьюшка

Почетить — оказывать честь, звать в гости

Прямь — напротив

Решотно — худо

Рыбник — пирог с рыбой

Спичник — полотенце

Спорыдать — всходить (о солнце)

Спýтье — попутье, общая дорога

Туесье — берестяная посуда, коробки

Упряг — промежуток (о времени)

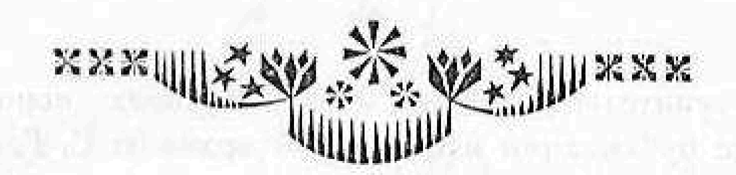
Фок-мачта — передняя мачта на парусном корабле

Чишшемина — очищенная от леса пашня

Шаньга — ватрушка

Шаять — тлеть

Штофник — шелковый сарафан



ПРИМЕЧАНИЯ

Сказки С. Г. Писахова при жизни автора насчитывают всего пять изданий. Наиболее авторитетными следует считать взаимодополняющие книги: Сказки Писахова. Архангельск, 1938 и Сказки Писахова. Кн. 2. Архангельск, 1940. Другими изданиями С. Г. Писахов не был удовлетворен.

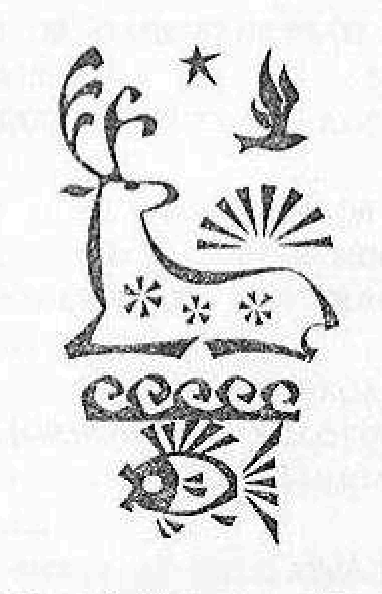
Первоначально (1920-е гг.) С. Г. Писахов, ведя повествование от лица народного рассказчика, стремился «фотографически» передать фонетику народного говора. Постепенно — с 1924 по 1940 г. — этот взгляд автора корректировался: текст становился более литературным, не утрачивая своей игривой диалектной окраски. В издании 1940 г. нет форм: «скажеш», «наелса», «штобы», «етот» и др. При этом, однако, отменяются некоторые литературные произносительные нормы, «незаконно» проникшие в предыдущие издания (например, «сколько» меняется на «сколь»). Все же в процессе правки были авторские недосмотры, унификации однородных явлений не произошло («собирам», но — «стараемся», вместо «старамся»; «лешш», но — «помощник», «щей» и т. д.). Естественно, что при данной публикации произведений разных сборников их фонетический строй передается однотипно, с ориентацией на принципы 1940 г., но в отдельных случаях допускается возвращение к принципам 1938 г.

В книге публикуются все тексты сборника 1938 г. Из сборника 1940 г. не включены сказки: «Медведь от поповского нашествия избавил», «Оглобля расцвела», «Сани выросли», «Из болота выстрелился», «Терпенье лопнуло», «Кабатчик лопнул», «По радии в гости», «Радия в городе», «Радия посылки», «Персицка монета».

«Модница», «Лень да Отеть» печатаются по изданию 1959 г.; «Подруженьки», «Река дыбом», «Сплю у моря» печатаются по редакциям сборника: Ст. Писахов. Сказки. Архангельск, 1969. При печатании сказки «Морожены песни» учтены редакция 1924 г. и правка 1959 г.; при печатании «Как наряжаются» и «Сплю у моря» — редакции 1959 г.

*

Во вступительной статье и примечаниях использованы следующие публикации и материалы архивов: С. Г. Писахов. От автора (под этим заглавием печатались не совпадающие друг с другом тексты авторских предисловий к изданным в Архангельске сборникам сказок Ст. Писахова 1938, 1949 и 1959 гг.); Н. Сахарный. Степан Григорьевич Писахов. Биографический очерк. Архангельск, 1959; Вл. Личутин. «Без вас не мыслю Севера».— В кн.: Вл. Личутин. Белая горница. Повесть и очерки. Архангельск, 1973; Центральный государственный исторический архив Ленинграда — ф. 790, оп. 1, ед. хр. 90, 105, 106, 372, 439; Рукописный отд. ИРЛИ (Пушкинского дома) АН СССР — ф. 494, ф. 676; письма С. Г. Писахова А. А. Горелову (1959) и художнику Ю. М. Данилову (1960).



СОДЕРЖАНИЕ

Ал. Горелов. Череда чудес 3

СКАЗКИ С. Г. ПИСАХОВА

«НЕ ЛЮБО — НЕ СЛУШАЙ...» 21
СЕВЕРНО СИЯНИЕ 23
ЗВЕЗДНОЙ ДОЖДЬ 24
МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 24
ИЗ-ЗА БЛОХИ 29
ЛЕТНО ПИВО 30
БАНЯ В МОРЕ 32
БРЮКИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ВЕРСТ ДЛИНЫ 34
В РЕКЕ ПОРЯДОК НАВЕЛ 35
ВЕТЕР ПРО ЗАПАС 38
КАК УИМА ВЫСТРОИЛАСЬ 39
ЯБЛОНЕЙ ЦВЕЛ 41
ОГЛУШИТЕЛЬНО РУЖЬЕ 47
ГУСИ 50
ПЕРЕПИЛИХА 55
ПИРОГ С ЗУБАТКОЙ 59
ПУЛЯ 60
НА ТРЕСКЕ В МОРЕ ГУЛЯЮ 60
БЕЛОЙ МЕДВЕДЬ 61
ЧАЙКИ ОДОЛЕЛИ 62
АРТЕЛЬЮ РАБОТАЛ. ОДИН ЗА СТОЛ САДИЛСЯ 63
КАК НАРЯЖАЮТСЯ 64

КАБАТЧИХА НАРЯДИЛАСЬ 65
ГРОМКА МОДА 69
УИМА В ГОРОД НА СВАДЬБУ ПОШЛА 71
СВАДЬБА 72
МОРОЖЕНЫ ВОЛКИ 76
СВОИМ ЖАРОМ БАНЮ ГРЕЮ 78
МОЕЙ ГОРЯЧНОСТЬЮ СТАРУШОНКИ НАГРЕЛИСЬ 78
ЛЕДЯНА КОЛОКОЛЬНЯ 79
ЛЕДЯНОЙ ПОТОЛОК НАД ДЕРЕВНЕЙ 81
НАЛИМ МАЛИНЫЧ 82
ТРЮМ 84
САХАРНА РЕДЬКА 85
ВСКАЧЬ ПО РЕКЕ 86
С ПРОМЫСЛОМ МИМО ЧИНОВНИКОВ 88
БЕЛУХА 91
КИСЛЫ ШТИ 93
ДРОВА 97
СВОЯ РАДУГА 98
РЫБЫ В РАЖ ВОШЛИ 99
ПЛЯШЕТ САМОВАР, ПЛЯШЕТ ПЕЧКА 101
СИЛА МОЕЙ ПЕСНИ ПЛЯСОВОЙ 102
ЗАЖИГАЛКА 105
СНЕЖНЫ ВЕХИ 107
РЕКА УЖЕ СТАЛА 110
АПЕЛЬСИН 112
ФРАНТ И ФРАНТИХА 114
ЧТОБЫ ВСЕГО СЕБЯ НЕ РАЗБУДИТЬ 115
В ОДНО ВРЕМЯ В ДВУХ ГОСТЯХ ГОШШУ 116
БЕЛЫ МЕДВЕДИ 120
ЗЕЛЕНА БАНЯ 122
САМОВАРА СЕМЬЯ 124
БАБЫ РАЗГОВАРИВАЮТ 126
МОДНИЦА 127
ПОДРУЖЕНЬКИ 128
КАК КУПЧИХА ПОСТНИЧАЛА 130
СОБАКА РОЗКА 133
ПОРОСЕНОК ИЗ ПИРОГА УБЕЖАЛ 136
УГОЛЬНО ЖЕЛЕЗО 137
НА УИМЕ КРУГОМ СВЕТА 139
СЛАДКО ЖИТЬЕ 145
ПРЯНИКИ 147
ЦАРЬ В ПОХОД СОБРАЛСЯ 149

ДЕВКИ В НЕБЕ ПЛЯШУТ 152
МОБИЛИЗАЦИЯ 154
НАПОЛЕОН 157
МАМАЙ 158
МИНИСТЕР И МЕДВЕДЬ 160
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРВОПУТОК 161
ПИСЬМО МОРДОБИТНО 163
ПОП-ИНКУБАТОР 166
ПРОПОВЕДЬ ПОПА СИВОЛДАЯ 168
РЕКА ДЫБОМ 169
МЕСЯЦ С НЕБЕСНОГО ЧЕРДАКА 172
ЛУННЫ БАБЫ 174
КАК Я ЧИНОВНИКОВ ПОТЕШИЛ 179
ИНСТЕРВЕНТЫ 181
СТЕРЛЯДЬ 184
СПЛЮ У МОРЯ 185

НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И СКАЗКИ, ПЕРЕСКАЗАННЫЕ С. Г. ПИСАХОВЫМ

СОЛОМБАЛЬСКА БЫВАЛЬЩИНА 189
КАК СОЛЬ ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ 191
НА КОРАБЛЕ ЧЕРЕЗ КАРПАТЫ 194
ЗА ДРОВАМИ И НА ОХОТУ 196
КАК ПОП РАБОТНИЦУ НАНИМАЛ 196
КАК ПАРЕНЬ К ПОПУ В РАБОТНИКИ НАНЯЛСЯ 198
ЛЕНЬ ДА ОТЕТЬ 199

Словарь малоизвестных слов и выражений 201
Примечания 203

Писахов С. Г.

П 34 Сказки. Сост., вступит. статья и примеч. А. А. Горелова. Рисунки Г. Бурмагиной. М., «Сов. Россия», 1978.

208 с.

Степан Григорьевич Писахов был поистине поэтической душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной речи, мужественный склад помора — все, что составляет самую глубокую природу северного края...

Он написал всего одну книгу. Книгу сказок. Но эта книга прочно вошла в золотой фонд русского национального искусства, в число лучших творений советской литературы.

Р2

П $\frac{70302-171}{М-105(03)78}$ 111—78

Степан Григорьевич
ПИСАХОВ

СКАЗКИ



Редактор В. КУРГАНОВА
Художественный редактор Э. РОЗЕН
Технический редактор Л. САМСОНОВА
Корректор М. БАРАБАНОВА

ИБ № 821

Сд. в наб. 25/IV-78 г. Подп. к печ. 27/IX-78 г. Форм. бум. 84×108/32. Физ. печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 10,36. Изд. инд. ЛХ — 103. А08217. Тираж 100 000 экз. Цена 95 коп. Бум. № 1 типогр. Зак. № 1452.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, Москва, 103012, пр. Сапунова, 13/15.

Отпечатано с набора ордена Ленина типографии «Красный пролетарий» на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

